

## **Жюль Верн Париж 100 лет спустя (Париж в XX веке)**

### **От французского издателя**

Творчество Жюль Верна никогда не поддавалось легкой классификации. К какой аудитории на самом деле он обращался – к подростковой или взрослой? Был ли от природы оптимистом, верил ли искренне в прогресс – во всяком случае, до тех пор, пока на его последние сочинения не ляжет печать горечи, сопутствующей возрасту? Изобрел ли он хотя бы какие-то из технологий будущего? Был ли вообще писателем тот, кого издатель правил и беспрестанно осаживал?

### **Как читать Жюль Верна сегодня**

В наши дни литературное наследие Жюль Верна подвергается некоей двусмысленной реабилитации. Иные критики признают за ним поэтические достоинства – в «Двадцати тысячах лье под водой», видят в нем романтического рассказчика – в «Замке в Карпатах». Для них, однако, эти качества подчас заслоняют, отодвигают на задний план фигуру провозвестника технического прогресса. Но почему надо выбирать? Роман «Париж в XX веке» как раз и должен помочь выйти за рамки такого противопоставления.

Отвлекаясь от малозначительных погрешностей в повествовании, неудивительных для молодого писателя, еще тяготеющего к театральному диалогу, видишь, как встает во весь рост мощная фигура провидца в самом точном, самом прямом и современном смысле этого слова. Сила Жюль Верна как раз в том, что он никогда и ничего не изобретает, но нечто уже существующее в реальности умеет изучить так внимательно, окинуть таким острым, почти гипнотическим взглядом, что оно раскрывает и свои секреты, и заложенные в нем возможности. И если вы принадлежите к числу тех, кто с упоением вникал в анатомию аппарата Румкорфа, который берут с собой путешественники к центру Земли, точно так же теперь, сядя в метро, вы будете слышать внутренним слухом шелест электромагнитных труб, плавно приводящих в движение рейлвей Парижа XX века.

Научные сведения, которыми Жюль Верн владеет в 1863 году, точны, новы и превосходно осмыслены. Мотор его газ-кебов движим вовсе не какой-то неясной и таинственной энергией. Это – двигатель внутреннего сгорания, созданный Ленуаром в 1859 году, но в автомобилестроении впервые примененный Даймлером лишь в 1889-м. Факсимильные изображения передаются не силой магии, а по пантелеграфу, изобретенному Казелли в 1859 году. И, как это будет делаться и через добрых 130 лет на некоторых бумажных фабриках, в романе древесный ствол за несколько часов превращается в стопу бумаги по способу Уатта и Бэрджесса, разработанному в 1851 году.

И в таком случае, разумеется, машины могут начать мечтать, палуба «Левиафана IV» покроется деревьями и цветами, и по газону ее аллей будут скакать всадники...

Но в Париже XX века Жюль Верна интересуют не только перспективы машинного прогресса, он переносит в будущее тенденции развития общества, финансов, политики и культуры своего времени. И если брать эту сторону его творчества, нет у Ж. Верна другого произведения, где бы его замысел оказался столь же современным по звучанию и столь же амбициозным: без снисхождения исследует он дух государственного торгашества, царивший в годы Второй империи и который в 1960 году в той же мере, как и демон электричества, пожирает Мишеля и его друзей. Право, не видно, чтобы история так уж опровергла сочинителя.

Надо прочесть «Париж в XX веке», перечитать Жюль Верна, чтобы вспомнить, что двери будущего открываются и силой разума, и силой поэзии.

### **Тщательная опись эпохи**

Роман-предвидение в полном смысле этого слова, «Париж в XX веке» – это тщательная

опись современной писателю эпохи, он полон удивительно «вкусной» информации о жизни Парижа века XIX. Приводимые там сведения, символы, оценки требуют пояснений. Чтобы не перегружать текст сносками, мы решили поместить все комментарии в конце тома, собрав их под общим заголовком «Жюль Верн и его время». Они позволят любознательному читателю продолжить поиск самостоятельно. Что же касается самой рукописи, то, хотя перед нами явно первый вариант, «первый залп» со всеми присущими этой стадии недостатками, в то же время это – законченный текст; соответственно, мы его воспроизвели максимально точно, соблюдая как пунктуацию (Жюль Верн обожает точки с запятой, они для него отмеряют ритм, как бы регулируют дыхание), так и манеру подачи.<sup>1</sup>

*Вероника Беден*

## **Предисловие к русскому изданию**

Открытие «нового» романа Жюль Верна, его первая публикация во Франции осенью 1994 года и затем, очень быстро, его переводов на многие языки мира – неординарное событие в мире литературы. Хотя о том, что роман, названный «Париж в XX веке», действительно был написан, стало известно сразу после смерти Жюль Верна в 1905 году, он считался настолько безвозвратно потерянным, что само его существование стало почти мифом. Внук писателя Жан Жюль-Верн в монографии, изданной в 1973 году и посвященной деду,<sup>2</sup> даже не упоминает об этом произведении, хотя, как никто другой, имел доступ ко всем семейным архивам...

И вот роман, чье название выиграло бы в привлекательности, если бы звучало «Париж в 1960 году» или «Париж 100 лет спустя», предлагается читающей публике России, страны, где популярность Жюль Верна едва ли не превосходит ту, которой он пользуется в родной стране.

И какой роман! Интерес к нему российского, постсоветского, русскоязычного – назовите, как хотите, – читателя гарантирован уже самим его жанром. Это первая, насколько нам известно, **литературная антиутопия**, роман-предупреждение, жанр, ставший столь популярным после Октябрьской революции в России, связанный с именами Замятина, Платонова, затем Аксенова, Войновича, братьев Стругацких, а из иностранцев прежде всего с Олдосом Хаксли и, главное, Оруэллом.

Все они, однако, пришли позже. Жюль Верн же стал поистине первооткрывателем, решившимся бросить критический взгляд на будущее в эпоху, когда в моде, напротив, были социальные утопии, олицетворяемые такими авторитетными фигурами, как Сен-Симон, Фурье, Оуэн, и другими «утопическими социалистами».

Но «Париж в XX веке» одновременно имеет и ценность исторического документа. Он – настоящая энциклопедия, содержащая всеохватывающие сведения о современной писателю Франции и в особенности о Париже – бесспорно главном герое романа.

Читатель уже познакомился с краткой вводкой, предпосланной французскому изданию Вероникой Беден, главой отдела крупнейшего издательства «Ашетт», откупившего еще в начале XX века права на издание всех сочинений Жюль Верна. Самым настойчивым образом мы советуем обращаться к поглавным примечаниям, подготовленным той же В. Беден и помещенным в конце книги под названием «Жюль Верн и его время». Они в огромной степени облегчают современному читателю понимание романа, еще шире распахивают двери в мир техники и искусства XIX века, столь подробно там описываемый.

Некоторые из этих примечаний, не представляющих специфического интереса для широкой российской аудитории, мы позволили себе сократить.

---

<sup>1</sup> Стремясь в целом как можно точнее воспроизвести в переводе особенности языка оригинала, мы в данном случае руководствуемся, как правило, нормами русского синтаксиса.

<sup>2</sup> Жан Жюль-Верн. Жюль Верн. М: Прогресс, 1978.

Обширное предисловие к французскому изданию было написано первооткрывателем романа, известным исследователем творчества писателя и вице-президентом Жюльверновского общества Пьеро Гондоло делла Рива. Его работа носит, однако, слишком литературоведческий характер, перегружена необязательными для широкого читателя подробностями, поэтому мы помещаем ее в конце текста – любители такого жанра и специалисты познакомятся с ней с интересом.

Гондоло делла Рива приводит ценнейшие и уникальные материалы – выдержки из черновика письма издателя Этцеля, где тот обосновывает свой отказ напечатать роман, и ссылки на его же и самого Жюль Верна пометки на полях рукописи. Они дают возможность порассуждать на поставленную исследователем тему – о характере романа и о причинах отказа Этцеля опубликовать его.

Как нетрудно убедиться, в «новом» романе Жюль Верна присутствуют четыре главные ипостаси: изображение будущего общества, каким оно, по мнению писателя, станет через сто лет; представления о направлении развития технического прогресса; критический обзор современной автору французской литературы и европейской музыки; наконец, романтическая и достаточно сентиментальная история любви центрального персонажа.

О первой из них – картине общества будущего – мы разговор уже начали. Так вот, продолжая его, представляется важным отметить, что, в отличие от большинства выше перечисленных авторов антиутопий, творивших на фактуре социализма, Жюль Верн создает свою антиутопию, экстраполируя и доводя до абсурда черты современного ему капиталистического общества в том варианте, как оно складывалось во Франции в годы Второй империи. Это была эпоха бурного технического и промышленного прогресса, безграничной веры в него, эпоха ускоренного формирования финансовой инфраструктуры того, «классического» капиталистического общества и, наконец, усиления свойственных Франции центр ализаторских тенденций, определяющего влияния государства во всех буквально сферах жизни.

В многочисленных исследованиях творчества Жюль Верна утверждалось, что писатель разделял эту веру в благотворное влияние технического прогресса и только к концу жизни стал поддаваться пессимизму. Да, увлеченность писателя перспективами развития науки и техники бесспорна, она – движущая пружина многих его романов, сделавших его одним из пионеров научной фантастики. Да, Жюль Верн отдал дань и утопическому социализму, будучи приверженцем идей Сен-Симона. Но «Париж в XX веке» свидетельствует, что уже в молодые годы (автору было тогда 35 лет) писатель был полон скептицизма в отношении индустриальной цивилизации.

Бездуховность, декаданс литературы и искусств, огосударствление и бюрократизация жизни во всех ее проявлениях, жесткий контроль властей за мыслью да и за повседневным поведением своих граждан вообще (рассказ о функциях консьержей вполне вписывается в картину того, что мы сейчас называем полицейским государством) – такой видится Жюль Верну расплата за комфорт, приносимый научно-техническими достижениями.

Без сомнения, подобное видение будущего мира было слишком необычным для эпохи, в какую создавался роман, слишком контрастировало с общепринятыми представлениями. И потому, вероятно, умница и эрудит Этцель не воспринял эту идею (или считал, что ее не воспримет публика), как явствует из приводимых делла Ривой пометок издателя на полях рукописи Жюль Верна: «сегодня в ваши пророчества не поверят», «этим не заинтересуются». Нынешнего читателя, особенно российского, напротив, поразит, насколько Жюль Верн оказался прав, как мало, в общем-то, он ошибался даже в своих явных и намеренных преувеличениях.

Единственное светлое пятно в жюльверновской картине будущего, ставшего нашей современностью, – исчезновение войн и армий (провидчески объясняемое появлением оружия, способного уничтожить весь мир). Увы, здесь пророческий дар писателя еще ждет своего подтверждения...

Что же касается чисто научно-фантастической стороны этого романа-предвидения, то она почти безупречна и просто поразительна с точки зрения сегодняшнего дня. Немало идей, родившихся при написании оставшегося неопубликованным сочинения и основанных на проекции в

будущее самых новейших технических достижений того времени, будет использовано Жюлем Верном в последующих произведениях.

И все же, как представляется, не несогласие с жанром и, уж конечно, с научно-техническими пророчествами определило отказ Этцеля опубликовать роман.

Вроде бы на поверхности лежит иное объяснение. В письме издателя, черновик которого опубликован делла Ривой, и в заметках на полях рукописи предъявляются большие претензии к стилю, к чисто литературным качествам текста.

Да, претензии были справедливы, в чем пришлось убедиться и переводчикам русского издания. Но и это вряд ли могло послужить причиной отказа Этцеля. Ведь и другие романы Жюль Верна Этцель правил, возвращал писателю на доработку. И не только Жюлю Верну. Внук писателя приводит, например, такой факт: на посвященной издателю выставке можно было увидеть целую страницу Бальзака, перечеркнутую и заново переписанную Этцелем.<sup>3</sup> И в сюжет издатель, сам бывший известным писателем,<sup>4</sup> вмешивался, предлагал внести изменения в развитие действия, в характеры персонажей и т. д. Все это, очевидно, могло бы произойти и с «Парижем в XX веке», продолжи автор работу над ним. Кстати, обычно и сам Жюль Верн сильно правил себя, но уже в гранках, не в рукописи. Здесь же на ее полях остались лишь пометки типа «развить», «детализировать»...

Во всяком случае, и в нынешнем виде (а во французском издании текст Жюль Верна воспроизведен без какой-либо редакторской правки) роман не столь уж отличается в литературном отношении от других, в нем, в частности, много сходства в этом плане с написанным в то же время романом «Пять недель на воздушном шаре». А некоторые недоговоренности, неточности, несовпадения (например, относительно возраста молодых героев), неудивительные для первого наброска, отнюдь не мешают читательскому восприятию.

На наш взгляд, наиболее вероятной причиной отказа Этцеля стали попытка Жюль Верна дать в романе критический обзор современной ему французской литературы, сами его суждения о личности некоторых писателей. Об этом свидетельствует и цитируемый делла Ривой отрывок из письма издателя, где тот пишет, что о «литературных вещах» Жюль Верн говорит «как светский человек, слегка соприкоснувшийся с этим» миром.

И здесь, очевидно, сыграла роль не только наивная попытка писателя угодить Этцелю, о которой говорится в примечаниях к французскому изданию.

На самом деле Жюль Верн в романе позволяет себе «похулиганить». Так, он заставляет умереть при весьма необычных обстоятельствах некоторых видных и благополучно здравствовавших тогда писателей. Достаточно сослаться на смерть, уготованную им А. Дюма, который травится сам и травит некоторых друзей, также известных литераторов, изобретенным им блюдом, на придуманные Жюлем Верном дуэли и отлучения от церкви, опять-таки в отношении живых людей, многие из которых были, к тому же, близки к Этцелю. Можно представить себе, какая буря негодования поднялась бы, опубликуй издатель подобные «шутки». Для нас этим более всего и объясняется приговор Этцеля: «Вы не созрели для этой книги, вы ее переделаете через двадцать лет». Издатель, вполне вероятно, должен был быть шокирован подобным мальчишеством. А задетый в своем самолюбии Жюль Верн забросил рукопись в долгий ящик – более долгий, чем он мог предположить.

Нам же, читателям конца XX века, предпринятый Жюлем Верном обзор позволяет составить осязаемое представление о богатстве французской литературы, открывая многие, без сомнения незнакомые большинству нашей публики, имена.

Сказанное относится и к безапелляционным и нередко весьма спорным суждениям автора о музыке и современных ему композиторах – области, в которой Жюль Верн, выросший в музыкальной семье, считал себя особенно компетентным.

«Париж в XX веке» любопытен еще и тем, что перед нами практически единственный ро-

---

<sup>3</sup> Жан Жюль-Верн. Цит. соч. С. 163.

<sup>4</sup> Под псевдонимом П. Ж. Сталь.

ман Жюль Верна, где в основе сюжетной линии лежит любовь. Мелодраматический характер этой любовной истории идет, очевидно, от занятий Жюль Верна театром. Позже в романах Жюль Верна, кроме, может быть, «Замка в Карпатах», тема любви сходит на нет, а если и присутствует, то лишь как фон. Он сам признавался, что описание любовных отношений отнюдь не сильная его сторона, главное для него – действие. Недаром персонажи Жюль Верна нередко почти лишены внешних характеристик. Мы о них знаем, представляем себе их характеры, следим за их поступками, самих же их не видим. Но, увлеченные мастерством рассказчика, мы прощаем это писателю, как прощал, хотя и огорчаясь, его издатель и друг Этцель. Не отличается в этом отношении от других романов Жюль Верна и «Париж в XX веке», хотя попытка описать внешность молодых героев здесь и была предпринята.

И последнее. Предлагаемый роман является превосходным путеводителем по Парижу, наглядным, остающимся точным и сейчас. Приглашаем читателя в жюльверновский Париж наших дней!

**Всеволод Рыбаков**

## **Париж в XX веке**

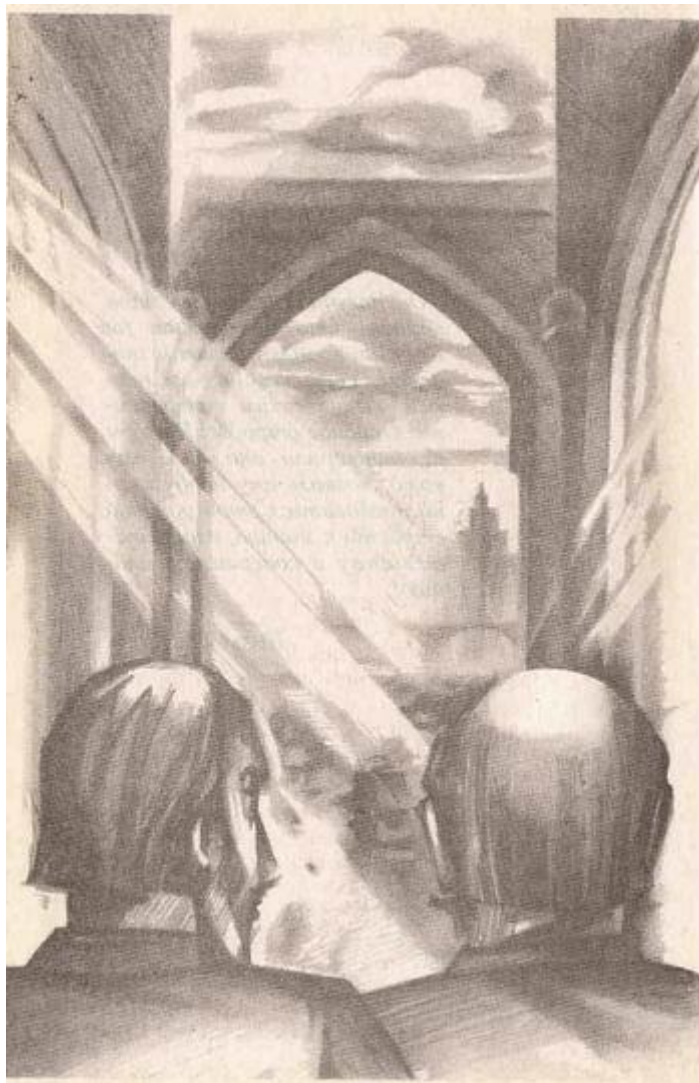
*О, пагубное влияние этой породы, что не служит ни Богу, ни королю, целиком отдается светским наукам, низким техническим профессиям! Опасное отродье! Чего бы не сотворило оно, дай ему волю, позволь ему необузданно предаваться этой роковой страсти к знанию, изобретательству и совершенствованию!*

**Поль-Луи Курье**

### **Глава I**

#### **Генеральная Компания Образовательного Кредита**





13 августа 1960 года значительная часть жителей Парижа направлялась к многочисленным станциям городской железной дороги,<sup>5</sup> чтобы затем по различным ее линиям собраться на том месте, где когда-то простиралось Марсово поле.

Это был день вручения наград Генеральной Компании Образовательного Кредита – гигантского учреждения народного просвещения. Торжественная церемония проходила под председательством Его Превосходительства Министра Украшательства города Парижа.

Генеральная Компания Образовательного Кредита полностью соответствовала требованиям индустриальных тенденций века: то, что сто лет назад называлось Прогрессом, теперь достигло колоссальных масштабов. Монополия, этот венец совершенства, держала мертвой хваткой всю страну; возникали, закладывались, множились различные компании, неожиданные результаты деятельности которых весьма удивили бы наших отцов.

Денег хватало, а ведь был момент, когда им, казалось, не могли найти применения – после того, как железные дороги перешли от частных владельцев в руки государства; следствием стало изобилие капиталов – и капиталистов, искавших им приложения, будь то в финансовых операциях или же в промышленных предприятиях.

Соответственно, не будем удивляться тому, что поразило бы парижанина девятнадцатого столетия, и среди прочих чудес – созданию Образовательного Кредита. Эта компания с успехом действовала уже лет тридцать во главе с финансовым директором бароном де Веркампеном. По мере того, как множились филиалы Университета, лицеи, коллежи,<sup>6</sup> начальные школы, пансио-

---

<sup>5</sup> По-французски – метрополитен.

<sup>6</sup> Коллеж (ср. англ. колледж) – наименование, принятое во Франции для заведений, в основном, среднего образования или же дополняющего высшее (Коллеж де Франс).

наты христианского учения, подготовительные курсы, семинары, лекционные циклы, детские сады и сиротские дома, образование – хоть какое-нибудь – просочилось даже в самые низшие слои социальной пирамиды. И если привычка к чтению была уже утеряна, читать и даже писать умели все. Не было отпрыска из семьи честолобивых ремесленников или деклассированных крестьян, который не претендовал бы на место в администрации; государственная служба разрасталась во всех своих ипостасях – позже мы увидим, каким несметным легионом служащих командовало государство, причем на чисто военный лад.

Здесь же нам хотелось лишь указать на то, что возможности получить образование должны были умножиться в ответ на рост числа людей, желавших учиться.

Когда в девятнадцатом веке захотели придать новый облик Франции и Парижу, были изобретены компании недвижимости, объединения предпринимателей и Земельный Кредит.<sup>7</sup> А для деловых людей строить или просвещать – разницы нет, ибо образование – это, по правде, тоже род строительства, только здание получается менее прочным.

Именно так рассуждал в 1937 году барон де Веркампен, знаменитый своими крупными финансовыми предприятиями: он задумал основать колоссальный коллеж, где древо просвещения могло бы пустить ветви, представляющие все отрасли знания, при том что формировать его, подрезать и снимать с него вредных гусениц будет по своему разумению Государство.

В этом всеохватывающем и едином для всей страны образовательном учреждении барон слил вместе парижские и провинциальные лицеи, Сент-Барб с Ролленом,<sup>8</sup> а также частные школы разных уровней. Поскольку все мероприятие было подано как промышленное начинание, капиталы откликнулись на призыв барона, чья деловая репутация сама по себе служила финансовой гарантией. Итак, деньги нашлись, Компания была учреждена.

Барон затеял все это в 1937 году, в правление Наполеона V. Проспект Компании был отпечатан в 40 миллионах экземпляров. В заголовке можно было прочесть:

### **Генеральная Компания Образовательного Кредита**

Акционерная компания, учрежденная актом, заверенным мэтром Мокаром и его коллегами, парижскими нотариусами, 6 апреля 1937 года и утвержденная императорским декретом от 19 мая 1937 года.

Уставной капитал: сто миллионов франков, разделенный на 100 000 акций по 1000 франков каждая.

#### **Административный Совет:**

барон де Веркампен, командор ордена Почетного легиона, президент,  
де Монто, офицер ордена Почетного легиона, директор Орлеанской ж.д.,

#### **Вице-президенты:**

Гарассю, банкир,  
маркиз д'Амфисбон, высший офицер ордена Почетного легиона, сенатор,  
Рокамон, полковник жандармов, кавалер Большого Креста, Дерманжан, депутат,  
Фраппелу, кавалер ордена Почетного легиона, генеральный директор Образовательного Кредита.

Далее следовал Устав Компании, написанный изысканным финансовым языком. Как видим, в Административном Совете – ни одного имени ученого или преподавателя. Для коммерческого предприятия так оно было надежнее.

Контролировал деятельность Компании правительственный инспектор, подотчетный Ми-

---

<sup>7</sup> Креди фонсье – банк, кредитующий под залог недвижимость.

<sup>8</sup> Сент-Барб – коллеж в Париже, в квартале Сорбонны. Шарль Роллен – ректор парижского Университета в первой половине XVIII века.

нистру Украшательства Парижа.

Поскольку идея барона оказалась удачной и в высшей степени практичной, ее успех превзошел все ожидания. В 1960 году Образовательный Кредит насчитывал по меньшей мере 157 342 ученика; сам процесс постижения наук был механизирован.

Приходится признать, что изучение литературы и древних языков (включая французский) оказалось тогда почти заброшено, латинский и греческий были не только мертвы, но и похоронены; для проформы еще оставалось несколько классов словесности, но они плохо посещались, были мало значительными и еще менее уважаемыми. Словари, «ступени»,<sup>9</sup> грамматики, списки тем для сочинений и изложений, вся прочая классика, набор книжиц всех этих Вергилиев, Квинтов-Курциев, Саллюстиев и Титов-Ливиев не потревоженными пылились на полках старого дома издательства «Ашетт». Зато «Краткие курсы математики», трактаты по морфологии, механике, физике, астрономии, курсы предпринимательской практики, торговли, финансов, промышленности, все, что имело отношение к спекулятивным тенденциям дня, раскупалось в тысячах экземпляров.

А в результате акции Компании, удесятирившие за двадцать два года свою номинальную цену, стоили в описываемую эпоху уже по 10 000 франков за штуку.

Не станем далее распространяться по поводу финансового процветания Образовательного Кредита; по присловию банкиров, цифры сами говорят за себя.

К концу прошлого века Эколь Нормаль<sup>10</sup> явно приходила в упадок, туда шли немногие молодые люди, чувствовавшие призвание к карьере в области словесности; потом многие из них, причем из лучших, забрасывали подальше свои преподавательские мантии и вливались в толпу журналистов-сочинителей. Но теперь сие печальное зрелище больше не повторялось, ибо вот уже десять лет как новое пополнение привлекали исключительно естественнонаучные дисциплины.

Но если последние профессора греческого и латинского доканчивали свои дни в пустых классах, какое завидное положение занимали, напротив, господа преподаватели Точных и Естественных Наук, с каким достоинством расписывались они в платежных ведомостях!

Науки подразделялись на шесть областей: имелся начальник Управления математики с заместителями по арифметике, геометрии и алгебре, начальники Управлений астрономии, механики, химии и, наконец, самый важный из них – начальник Управления прикладных наук с заместителями по металлургии, машиностроению, прикладной механике и химии.

Изучение живых языков, кроме французского, было весьма популярным, ему придавалось особое значение; одержимый филологией мог бы изучить там две тысячи языков и четыре тысячи наречий, на которых говорил мир. Заместитель начальника по изучению китайского не имел отбоя от студентов со времени колонизации Кохинхины.<sup>11</sup>

Компания Образовательного Кредита занимала гигантские здания, возведенные на месте бывшего Марсова поля, ставшего ненужным с тех пор, как Марсу перестали платить дань из бюджета. То был комплекс, содержащий всевозможные службы, настоящий город со своими кварталами, площадями, улицами, дворцами, церквями, казармами, сравнимый с такими городами, как Нант или Бордо, одновременно вмещающий сто восемьдесят тысяч душ, включая преподавательские.

Монументальная арка открывала проход на главный плац, именовавшийся Вокзалом Образования, его окружали доки наук. Заслуживали визита и столовые, дортуары, зал генерального конкурса, где могли свободно разместиться три тысячи учащихся. Все это, однако, не удивляло более людей, привыкших за последние пятьдесят лет ко многим диковинам.

Итак, толпа жадно устремлялась на вручение наград – церемонию, всегда вызывающую

---

<sup>9</sup> Gradus (лат.) – пособие к сочинению стихов на латинском языке.

<sup>10</sup> Эколь Нормаль – Высшее педагогическое училище, одна из престижных «Больших школ», готовит преподавателей вузов и лицеев.

<sup>11</sup> Кохинхина – южная часть Индокитая, колонизованная Францией в годы Второй империи.



любопытство и представлявшую неподдельный интерес для родственников, друзей или болельщиков, коих набиралось добрых пятьсот тысяч. Народный поток выливался из станции метрополитена, называвшейся Гренель и расположенной тогда на выходе с Университетской улицы.<sup>12</sup>

Несмотря на столпотворение, везде царил полный порядок, правительственные чиновники, менее ретивые и потому менее невыносимые, нежели служащие бывших частных компаний, охотно оставляли открытыми все двери; сто пятьдесят лет понадобилось, чтобы постичь ту простую истину, что при большом скоплении народа лучше умножать число выходов, чем их ограничивать.

Вокзал Образования был роскошно украшен к Церемонии. Но нет такой площади – сколь большой она ни будь, – которая не могла бы заполниться, и вскоре на главном плацу яблоку упасть было некуда.

В три часа состоялся торжественный выход Министра Украшательства Парижа, его сопровождали барон де Веркампен и члены Административного Совета; барон занял место по правую руку от Его Превосходительства; г-н Фраппелу восседал слева; с высоты трибуны взгляд терялся в океане голов. Многочисленные оркестры заведения с грохотом разразились музыкой самых несовместимых тональностей и ритмов. Эта предписанная распорядком какофония, казалось, ничуть не шокировала двести пятьдесят тысяч пар ушей, в которые она низвергалась.

Церемония началась. Установилась гулкая тишина. Настало время приступить к речам.

В прошлом веке некий юморист по имени Карр по заслугам высмеял произносимые на раздачах наград речи, латинский язык которых смахивал на канцелярский. В наши дни и насмеяться было бы не над чем, ибо латинское красноречие давно вышло из употребления. Да и кто бы сейчас смог понять его? Это было бы не под силу и самому заместителю начальника по отделению риторики!

Итак, речь, ко всеобщему удовлетворению, произносилась по-китайски. Несколько пассажиров вызвали одобрительный рокот среди публики, а замечательная тирада о сравнительных цивилизациях Зондских островов даже заслужила вызов на «бис». Это слово пока еще не вышло из употребления.

Наконец поднялся Директор по прикладным наукам. Торжественный момент, гвоздь церемонии.

Его неистовая речь полнилась присвистываниями, скрипами, стонами; казалось, что где-то рядом работает испускающая все эти неприятные звуки паровая машина. Слова сыпались из уст оратора со скоростью пульки, вылетающей из трубки сарбакана. Нечего было и пытаться перекрыть этот вырывавшийся под высоким давлением поток красноречия, где фразы со скрежетом сцеплялись одна с другой подобно зубьям шестерен.

Иллюзию довершало то, что Директор буквально истекал потом, его с головы до ног окутывало облако пара.

– Ну и чертовщина, – смеясь, обратился к соседу старик с тонкими чертами лица, на котором читалось полнейшее презрение к этим ораторским нелепостям. – Что вы думаете об этом, Ришло?

Г-н Ришло ограничился пожатием плеч.

– Он слишком перегревается, – продолжил старик. – Вы скажете, что у него есть предохранительные клапаны; но, случись Директору по прикладным наукам лопнуть, какой это был бы дурной прецедент!

– Метко сказано, Югенен, – отозвался г-н Ришло.

Возмущенные крики «тише» оборвали собеседников, обменявшихся понимающей улыбкой.

Оратор был поистине неудержим. Он очертя голову бросился хвалить настоящее и хулить прошлое; затянул нудную канитель о современных открытиях; дал даже понять, что в этом смысле на долю будущего остается весьма немного; со снисходительным презрением говорил о

---

<sup>12</sup> Для передачи названий улиц и площадей нами принят следующий принцип: если в основе имя собственное – транскрипция, если название смысловое – перевод.

крошечном Париже 1860 года и о крошечной Франции XIX века; не жалея эпитетов, перечислил достижения своей эпохи: скоростная связь между отдельными точками столицы, локомотивы, проносящиеся по битумному покрытию бульваров, энергия, доставляемая прямо на дом, углекислый газ, вытеснивший водяной пар, и, наконец, Океан – да, Океан, омывающий своими волнами берега Гренели. Директор был великолепен, лиричен, выпенен, словом, абсолютно невыносим и несправедлив, он забывал, что чудеса двадцатого века уже вызревали в проектах девятнадцатого.

Бешеные аплодисменты разразились на той самой площади, том самом месте, где сто семьдесят лет назад криками «браво» встречали праздник федерации.<sup>13</sup>

И все же, поскольку все на брэнной земле имеет свой конец – даже речи, – машина остановилась. Ораторские упражнения завершились без происшествий, теперь приступили к вручению наград.

Задача по высшей математике, предложенная на главный конкурс, формулировалась так:

«Даны две окружности  $O$  и  $O'$ : из точки  $A$  на окружности  $O$  проведены касательные к  $O'$ ; соединим точки касания этих касательных; проведем касательную от  $A$  к окружности  $O$ ; определите точку пересечения этой касательной с хордой, соединяющей точки касания на окружности  $O'$ ».

Каждый сознавал важность этой теоремы. Объявили, что она была по-новому решена учащимся по фамилии Жигуже (по имени Франсуа Неморен) из Бриансона (Верхние Альпы). Когда назвали его фамилию, крики «браво» возобновились с удвоенной силой, ее упомянули еще семьдесят четыре раза в течение этого памятного дня. В честь лауреата ломали скамьи, что даже в 1960 году оставалось еще только метафорой, означающей проявление крайнего энтузиазма.

Жигуже (Франсуа Неморен) был награжден по этому случаю библиотекой в три тысячи томов. Компания Образовательного Кредита ничего не делала наполовину.

У нас нет возможности привести целиком бесконечный перечень наук, что преподавались в этой казарме просвещения, а список лауреатов той эпохи в высшей степени удивил бы прапрадедов этих молодых ученых. Раздача наград шла своим чередом, причем когда какой-нибудь бедняга из Управления словесности выходил, краснея от стыда, получать приз за сочинение на латинском или похвальную грамоту за изложение на греческом, его встречали насмешками.

Но зубоскальство достигло апогея, а ирония обрела самые обескураживающие формы, когда месье Фраппелу произнес:

– Первый приз за стихосложение на латинском языке: Дюфренуа (Мишель Жером) из Ванна (Морбиган).

Взрыв веселья был всеобщим, то и дело отпускались замечания наподобие:

– Приз за стихосложение на латинском, ну и ну!

– Да он единственный, кто этим занимался!

– Посмотрите на этого члена общества Пинда!<sup>14</sup>

– На этого завсегдатая Геликона!

– На этого столпа Парнаса!

– Он выйдет! Он не выйдет! И т. п.

И все же Мишель Жером Дюфренуа направился к подиуму, гордо подняв голову, наперекор издевкам. Это был молодой блондин с очаровательными чертами лица, приятным взглядом, державшийся без всякого стеснения или неловкости. Отпущенные волосы придавали ему слегка женственный облик. От юноши словно исходило сияние.

Он приблизился к почетной трибуне и скорее вырвал, чем получил свой приз из рук Директора. То была всего лишь одна книга: «Пособие умелого слесаря».

Мишель с презрением взглянул на заголовок и, швырнув книгу оземь, спокойно, увенчан-

---

<sup>13</sup> Так называлось празднование первой годовщины взятия Бастилии, состоявшееся на Марсовом поле 14 июля 1790 года.

<sup>14</sup> Пинд, Геликон, Парнас – обиталища муз в древнегреческой мифологии.

ный лавровым венком, пошел назад, даже не приложившись к официальным щечкам Его Превосходительства.

– Молодец, – сказал Ришло.

– Отважный ребенок, – отозвался г-н Югенен.

Отовсюду слышался ропот недовольства; заняв свое место под насмешки сотоварищей, Мишель пренебрежительно усмехнулся.

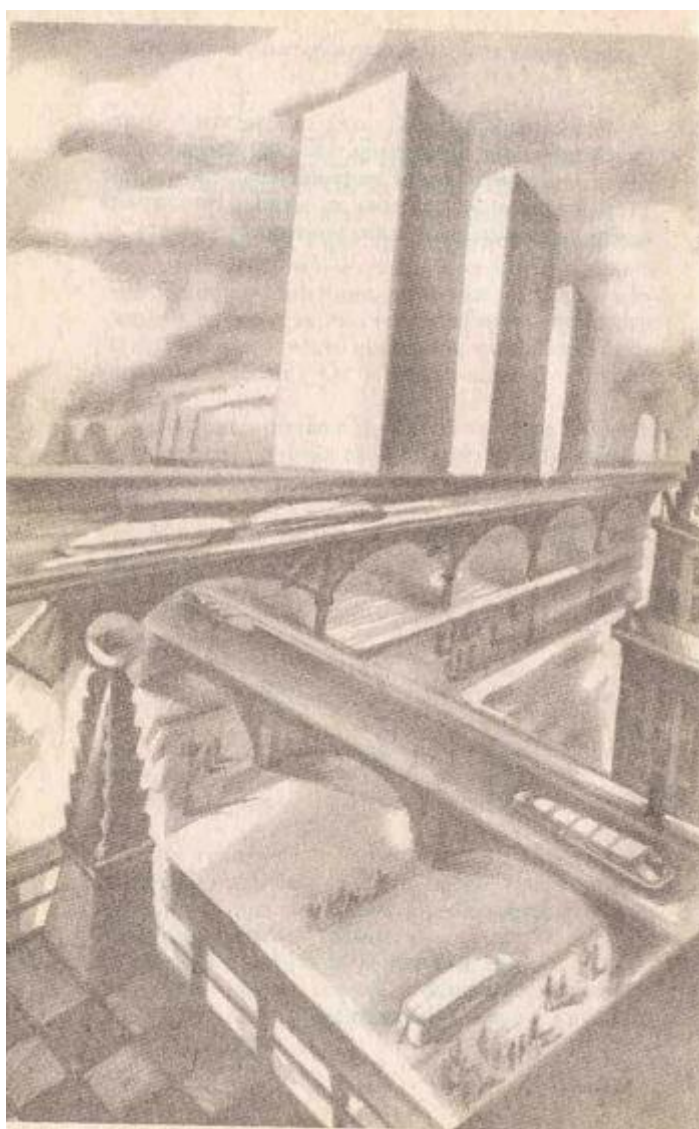
Эта грандиозная церемония без дальнейших помех закончилась к семи часам вечера; было вручено пятнадцать тысяч призов и двадцать семь тысяч похвальных грамот.

Главные лауреаты в области Наук в тот же вечер удостоились ужина в обществе Веркам-пена, членов Административного Совета и крупнейших акционеров.

Радостный настрой этих последних объяснялся цифрами. Дивиденды за 1960 финансовый год только что были установлены на уровне 1169 франков 33 сентима за акцию. На сегодня навар уже превышал эмиссионную стоимость.

## **Глава II**

### **Как выглядели парижские улицы в 1960 году**



В огромной толпе Мишель Дюфренуа был подобен капле воды в реке, которая, прорвав сковывавшие ее плотины, превратилась в стремительно несущийся поток. Его возбуждение постепенно спадало. В веселой толчее чемпион по латинскому стихосложению вновь превращался в робкого молодого человека, он ощущал себя одиноким, чужим и как бы заключенным в пусто-

ту. Его сотоварищи шли быстрым шагом – он продвигался медленно, нерешительно, чувствуя себя еще большим сиротой на этом сборище довольных родственников; он, очевидно, с сожалением расставался с годами учения, коллежем, со своим преподавателем. У него не было ни отца, ни матери, и теперь ему предстояло войти в семью, где его не могли понять, где юношу, с его призом за латинское стихосложение, наверняка ждал холодный прием.

– Ну, ладно, – сказал он себе, – побольше мужества! Я стоически перенесу их дурное настроение. Мой дядя алчен, моя тетя практична, мой кузен расчетлив; и меня, и мои идеи у них дома примут плохо; но что делать? Вперед!

Он, однако, не торопился, не принадлежа к числу тех учеников, что вырываются на каникулы, как народы на свободу. Его дядя и опекун даже не считал нужным присутствовать при вручении наград; как он говорил, он знал, на что был «неспособен» его племянник, и умер бы от стыда, глядя, как тот получает венец выкормыша Муз.

А толпа тем временем увлекала за собой несчастного лауреата; он ощущал себя утопающим, которого уносит потоком.

– Сравнение правомерно, – рассуждал он, – меня сносит в открытое море; там, где требуются способности рыбы, оказываюсь я – с инстинктами птицы; я люблю жить в нескончаемом пространстве, в тех идеальных краях, которые теперь никто не посещает, в стране мечтаний, откуда не возвращаются!

Так размышляя, в толчее и сутолоке, он добрался до станции Гренель городской железной дороги.

Эта линия метрополитена обслуживала левый берег Сены, проходя по бульвару Сен-Жермен, протянувшемуся от Орлеанского вокзала<sup>15</sup> до зданий Образовательного Кредита; там, отклоняясь к Сене, она пересекала реку по Йенскому мосту, через который рельсы были проложены по специальному настилу, и соединялась затем с линией рейлвея правого берега; пройдя через туннель под площадью Трокадеро, она выходила на Елисейские поля, достигала Больших бульваров, поднималась вдоль них до площади Бастилии и через Аустерлицкий мост воссоединялась с левобережной линией.

Это первое кольцо метрополитена более или менее точно совпадало с границами старого Парижа Людовика XV, оно проходило там, где когда-то высились его стены, на память о которых осталась только эта эвфоническая строка:

Le mur murant Paris rend Paris murmurant.<sup>16</sup>

Второе кольцо длиной в тридцать два километра соединяло между собой бывшие предместья Парижа, опоясывая кварталы, некогда находившиеся за границей внешних бульваров.<sup>17</sup>

Совпадавший с линией бывшей окружной дороги<sup>18</sup> третий кольцевой рейлвей имел протяженность пятьдесят шесть километров.

Наконец, четвертое кольцо длиной более ста километров связывало между собой окружающие Париж форты.

Как видим, Париж взломал свои старые границы 1843 года и, ничтоже сумняшеся, поглотил Булонский лес, равнины Исси, Ванва, Бийанкура, Монружа, Иври, Сен-Манде, Баньоле, Пантена, Сен-Дени, Клиши и Сент-Уана. Его экспансию в западном направлении остановили высоты Медона, Севра, Сен-Клу. Нынешняя городская черта проходила через форты Мон-Валерьен, Сен-Дени, Обервилье, Роменвилль, Венсенн, Шарантон, Витри, Бисетр, Монруж, Ванв

---

<sup>15</sup> Теперь – Аустерлицкий.

<sup>16</sup> Однострочное стихотворение, основано на аллитерации, строгого смысла не имеет. По-русски его можно передать примерно так: Стены, стягивающие Париж, делают Париж стенающим.

<sup>17</sup> Сейчас это среднее бульварное кольцо, приблизительно совпадающее с современными линиями метро № 2 и 6.

<sup>18</sup> Ныне – кольцо так называемых Бульваров маршалов.



и Исси; город окружностью в двадцать семь лье<sup>19</sup> вобрал в себя весь департамент Сены.<sup>20</sup>

Итак, сеть метрополитена состояла из четырех концентрических колец; между собой их связывали радиальные ветки, которые на правом берегу Сены следовали бульварами Мажента и Мальзерб с их продолжениями, а на левом берегу – улицами Ренн и Св. Виктора на Рву.<sup>21</sup> С одного конца Парижа в другой удавалось попасть необычайно быстро.

Эти рейлвеи были сооружены к 1913 году на средства государства по проекту, предложенному в предыдущем веке инженером Жоанном.

Тогда правительству было представлено множество проектов. Оно передало их на рассмотрение совета гражданских инженеров, поскольку специальный корпус инженеров мостодорожного строительства ликвидировали в 1889 году вместе с Эколь Политекник.<sup>22</sup> Члены совета долгое время не могли прийти к единому мнению: одни хотели проложить рельсовую дорогу прямо по проезжей части главных парижских улиц, другие предлагали построить подземную сеть по типу лондонской. Но первое из упомянутых решений потребовало бы установки шлагбаумов, которые закрывались бы при проходе поезда; легко представить, к каким бы это вело заторам, столпотворению пешеходов, экипажей, повозок. Второе решение было весьма трудно осуществимым технически; к тому же перспектива погрузиться в нескончаемый туннель вряд ли привлекала бы пассажиров. Все дороги, некогда построенные этим достойным сожаления способом, пришлось переделать, в том числе ту, что вела в Булонский лес: ее мосты и туннели вынуждали пассажиров двадцать семь раз прерывать чтение газет на отрезке пути, занимавшем всего двадцать три минуты.

Напротив, проект, предложенный Жоанном, с очевидностью объединял в себе все достоинства – быстроту, простоту, удобство, и вот уже пятьдесят лет метрополитен функционировал ко всеобщему удовлетворению.

Сеть его имела две отдельные колеи. По первой поезда шли в одном направлении, по другой – навстречу, так что возможность столкновения была исключена.

Каждый из путей, следуя вдоль бульваров, возвышался над внешним краем тротуаров в пяти метрах от линии домов. Виадук опирался на элегантные колонны из гальванизированной бронзы, соединявшиеся между собой ажурной арматурой; с равными интервалами между колоннами и соседними домами были протянуты поперечные аркады, служившие дополнительным упором.

Таким образом, длинный виадук, по которому шла рельсовая колея, образовывал с каждой стороны крытую галерею, и прохожие могли под ней спастись от дождя и солнца. Залитая битумом проезжая часть улиц была выделена для экипажей; виадук по изящным мостам перепрыгивал через основные перерезавшие его путь магистрали, и рейлвей, подвешенный на уровне антресолей, нисколько не мешал уличному движению.

Некоторые прилегающие здания были превращены в станции с залами ожидания, они сообщались с платформами широкими пешеходными мостиками, а снизу, с улицы, в зал ожидания вели лестницы с двойными маршами.

Станции метрополитена, проходившего по бульварам, располагались на площадях Трокадеро и Мадлен, у базара Бон Нувель, на пересечении с Храмовой улицей и на площади Бастилии.

Такой виадук, покоящийся на обычных колоннах, конечно, не выдержал бы веса прежних тягловых средств с их тяжелыми локомотивами, но благодаря использованию принципиально новой движущей силы поезда были очень легкими, они ходили с интервалом в десять минут, и каждый в своих стремительно несущихся и весьма удобных вагонах перевозил добрую тысячу

---

<sup>19</sup> Лье – старофранцузская мера длины, на суше равна 4 км.

<sup>20</sup> По старому делению департамент Сена включал в себя собственно Париж и его пригороды, теперь входящие в три самостоятельных департамента.

<sup>21</sup> Теперь – улица Кардинала Лемуана.

<sup>22</sup> Высшее политехническое училище, одна из престижных «Больших школ».



пассажиров.

Прилегающие дома не страдали ни от пара, ни от дыма по той простой причине, что составы не имели локомотивов. Они двигались силой сжатого воздуха по способу Уильяма, предложенному еще знаменитым бельгийским инженером Жобаром, успешно работавшим в середине девятнадцатого столетия.

Вдоль колеи между рельсами была проложена ведущая труба диаметром в двадцать сантиметров и толщиной стенок в два миллиметра. Внутри нее помещался диск мягкой стали, приводившийся в движение сжатым до нескольких атмосфер воздухом, который поставляла Компания Парижских Катакомб. Диск скользил по трубе с большой скоростью, подобно пуле, выпускаемой из духового ружья, увлекая за собой головной вагон состава. Но за счет чего же вагон взаимодействовал с диском, если учитывать, что последний, заключенный в сплошную без отверстий и щелей трубу, никак не соприкасался с внешней средой? – За счет электромагнитической силы.

Действительно, между колесами головного вагона, справа и слева от ведущей трубы, как можно ближе к ней, но не касаясь ее, были установлены магниты. Через ее стенки магниты притягивали стальной диск,<sup>23</sup> а он, гонимый сжатым воздухом, тащил за собой весь поезд, причем между станциями труба оставалась герметически закрытой.

Когда состав приближался к станции, служащий открывал кран, воздух устремлялся наружу и диск замирал на месте. Когда кран снова закрывали, воздух опять начинал давить на диск и поезд трогался, немедленно набирая скорость.

Поистине превосходная система, простая, легкая в обслуживании, не дающая ни дыма, ни пара, исключаящая столкновения, позволяющая преодолевать любые подъемы! Казалось, такие дороги должны были бы существовать с незапамятных времен.

Молодой Дюфренуа взял билет на станции Гренель, и через десять минут поезд остановился на станции Мадлен; Мишель спустился на бульвар и направился к Императорской улице,<sup>24</sup> проложенной по прямой от Оперы к садам Тюильри.

Улицы полнились народом; на город начинали опускаться сумерки; витрины роскошных магазинов заполняли все пространство перед ними блеском электрического освещения; уличные канделябры, использовавшие открытый Уэем принцип электризации ртутной струи, светили с неимоверной яркостью, они были соединены между собой подземным кабелем; сто тысяч уличных фонарей Парижа зажигались, таким образом, одновременно, все сразу.

Немногие старомодные лавки сохраняли, однако, верность привычному углеводородному газу; надо сказать, что ввод в действие новых месторождений угля позволял снабжать потребителей газом по цене десять сантимов за кубометр; тем не менее Компания и на этом хорошо зарабатывала, особенно продавая газ в качестве горючего для двигателей.

В самом деле, огромное большинство бесчисленных экипажей, бороздивших битум бульваров, двигалось без помощи лошадей; их толкала невидимая сила, а именно мотор, в камере которого расширение достигалось за счет сгорания газа, – мотор Ленуара, изобретенный в 1859 году и теперь примененный в качестве двигателя.

Главным преимуществом этого мотора было то, что ему не требовались ни котел, ни топка, ни традиционное топливо; небольшое количество осветительного газа смешивалось с воздухом, поступавшим под поршень, смесь зажигалась электрической искрой, что и приводило его в движение; на многочисленных автостоянках устанавливались газозаправочные колонки, отпускавшие необходимый для двигателя водород; последние усовершенствования позволили обходиться без воды, которая раньше требовалась для охлаждения цилиндра машины.

Она была, таким образом, доступной, простой и удобной в управлении; машинист со своего сиденья управлял рулевым колесом, а с помощью расположенной под ногой педали мог мо-

---

<sup>23</sup> Если электромагнит при контактном соприкосновении может удерживать вес в 1000 кг, то на расстоянии 5 миллиметров он все еще обладает силой притяжения в 100 кг. (Прим. авт.)

<sup>24</sup> Как видно из текста, Жюль Верн проецировал существование Второй империи на сто лет вперед. Отсюда и появление в Париже XX века Императорской улицы, проходящей, очевидно, по линии теперешних Рю де ля Пэ и Рю Кастильон.

ментально изменять скорость движения.

Такие экипажи мощностью в одну лошадиную силу обходились в день в одну восьмую стоимости лошади; потребление газа контролировалось с большой точностью, позволяя рассчитывать время полезной работы каждого экипажа, так что Компанию уже больше не удавалось обманывать, как это делали некогда служившие в ней кучера.

Эти газ-кебы потребляли водород в большом количестве, не говоря уже об огромных грузовых повозках, перевозивших камни или стройматериалы и развивавших мощность в двадцать и тридцать лошадиных сил. Система Ленуара имела также то преимущество, что в часы простоя эксплуатация машин ничего не стоила, чего не скажешь о паровых машинах, продолжающих пожирать топливо даже на остановках.

Таким образом, транспорт был скоростным, а улицы менее запруженными, чем раньше, поскольку распоряжением министра полиции после десяти утра, и кроме как на немногих специально отведенных улицах, в городе запрещалось движение любых ломовых или грузовых подвод и повозок.

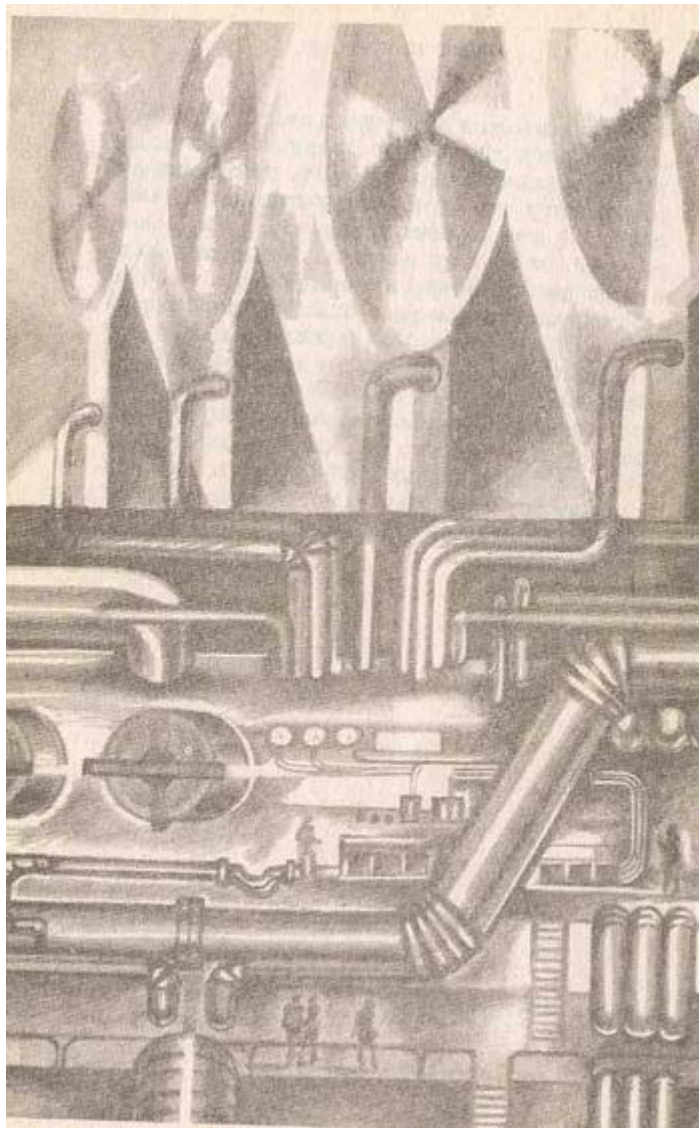
Все названные усовершенствования весьма соответствовали потребностям этого лихорадочного века, когда объем деловых операций вовсе не оставлял времени на отдых и не допускал ни малейших опозданий.

Что сказал бы кто-либо из наших предков, доведись ему увидеть эти бульвары, освещение которых по яркости соперничало с солнечным; эти тысячи экипажей, бесшумно кативших по гладкому битуму улиц; эти магазины, богатством уподоблявшиеся дворцам и излучавшие яркий до белизны свет; эти магистрали, широкие, как площади, и эти площади, просторные, как равнины; эти гигантские отели, где в роскошных условиях могло остановиться двадцать тысяч путешественников; эти столь легкие виадуки, эти уходящие вдаль элегантные галереи, эти мосты, переброшенные от одной улицы к другой, и, наконец, эти сверкающие поезда, буквально рассекавшие воздух с фантастической скоростью!

Вне сомнения, его поразило бы увиденное. Но людям 1960 года было не до восхищения всеми этими чудесами, они спокойно пользовались ими, хоть это не добавляло им счастья: их торопливая походка, их прямо-таки американский пыл свидетельствовали о том, что их гонит вперед демон обогащения, гонит без передышки и без пощады.

### **Глава III**

#### **В высшей степени практичная семья**



Наконец молодой человек добрался до дома своего дяди, г-на Станисласа Бутардена, банкира и директора Компании Парижских Катакомб.

Сия важная персона обитала в роскошном особняке на Императорской улице, огромном строении, отличавшемся несравненно плохим вкусом, продырявленном множеством окон; то была настоящая казарма, превращенная в частное жилище, отнюдь не импозантная, а просто помпезная. Конторские помещения занимали первый этаж и флигели особняка.

– Так вот где будет протекать моя жизнь! – подумал Мишель перед тем, как войти. – Должен ли я оставить у дверей всякую надежду?

Его охватило в этот момент непреодолимое желание убежать как можно дальше; но он справился с собой и нажал на кнопку электрического звонка у ворот, которые распахнулись, повинувшись невидимой пружине, и сами закрылись, пропустив гостя.

Просторный двор открывал доступ в расположенные по кругу под общей крышей из матового стекла конторские помещения. В глубине виднелся каретный сарай, где несколько газ-кебов ждали приказа хозяина.

Мишель направился к подъемнику, представлявшему собой нечто вроде комнаты, убранство которой составлял круговой, обитый материей диван; там постоянно дежурил слуга в оранжевой livrée.

– К месье Бутардену, – сказал Мишель.

– Месье Бутарден только что сел за стол, – ответил лакей.

– Будьте любезны объявить месье Дюфрену, его племянника.

Слуга нажал на металлическую кнопку, видневшуюся среди деревянных инкрустаций, и подъемник незаметно вознесся до второго этажа, где располагалась столовая.

Лакей объявил Мишеля Дюфренуа.

За столом сидели г-н Бутарден, г-жа Бутарден и их сын; с появлением нашего молодого человека наступила гробовая тишина. Для него был накрыт прибор. Обед едва начался, и по знаку дяди Мишель присоединился к трапезе. С ним не заговаривали. О происшедшей с ним катастрофе здесь явно знали. Он не мог проглотить и кусочка.

Обед производил крайне мрачное впечатление. Слуги двигались бесшумно, а блюда столь же бесшумно появлялись из подъемников, скользивших в шахтах, пробитых в толще стен. Еда была обильной, но с оттенком скупости, как если бы она сожалела, что исчезнет в желудках сотрапезников. В этой навевавшей тоску зале с ее нелепой позолотой ели быстро и без понятия. Ведь главным было не то, что ты съешь, а как ты на это заработаешь. Мишель ощущал этот нюанс, он задышался.

Наконец, за десертом дядя впервые заговорил; он произнес:

– Завтра, месье, с раннего утра мы должны побеседовать.

Мишель молча поклонился; лакей в оранжевой ливрее отвел юношу в предназначенную ему комнату. Мишель лег в постель; восьмиугольный потолок вызывал у него ассоциации с множеством геометрических теорем. Машинально он стал представлять себе треугольники и прямые, опускающиеся с вершины на одно из оснований.

– Что за семья! – повторял он в беспокойном сне.

Г-н Станислас Бутарден, типичный продукт того индустриального века, явно был выращен в теплице, а не рос свободно на природе. Прежде всего практичный, он совершал только полезные поступки, искал полезность в любой приходившей ему на ум идее, был обуреваем неумным желанием приносить пользу, желанием, перераставшим в эгоизм, который следовало бы назвать идеальным. Как сказал бы Гораций, банкир соединял полезное с неприятным. Его тщеславие проявлялось в каждом его слове и еще более в каждом жесте, он не позволил бы даже своей тени опередить себя. Он изъяснялся в граммах и сантиметрах, постоянно носил с собой трость с нанесенным на ней метрическим делением, с помощью чего получал широкие познания об окружающем мире. Он выказывал абсолютное презрение к искусствам и еще большее к людям искусств, создавая тем самым впечатление, что знаком с ними. Живопись для него олицетворялась размывкой красок, скульптура – отливкой форм, музыка – свистком локомотива, литература – биржевым бюллетенем.

Этот человек, воспитанный на вере в механику, представлял себе жизнь в форме сцеплений или трансмиссий, он всегда двигался так, чтобы создавать как можно меньше трения, подобно поршню в расточенном до совершенства цилиндре. Как бы по трансмиссии банкир сообщал это равномерное движение жене, сыну, служащим, лакеям – как станкам, из которых он, центральный мотор, извлекал самую большую в мире прибыль.

Противный тип, в общем-то, неспособный ни на что хорошее, как, впрочем, и ни на что плохое; он не нес с собою ни добра, ни зла, был чем-то несущественным, часто плохо смазанным, визгливым, до ужаса заурядным.

Он нажил огромное состояние, если только здесь уместно понятие «нажил». Его вознес с собой промышленный взлет века, и г-н Бутарден, соответственно, был признателен промышленности, которую боготворил. Он первым одел себя и свою семью в одежду из железной пряжи, появившуюся к 1934 году. Впрочем, такая ткань была на ощупь мягкой, как кашемир, хотя и плохо грела; зимой, однако, обходились с помощью хорошей подкладки. Когда же эта несносимая одежда начинала ржаветь, ее чистили наждаком и перекрашивали по моде дня.

В обществе статус банкира звучал так: Директор Компании Парижских Катакомб и поставок двигательной силы.

Компания занималась складированием воздуха в огромных и давно не использовавшихся подземельях, куда он закачивался под давлением в сорок–пятьдесят атмосфер. Это был неиссякаемый источник готовой энергии, которая по трубам поступала в мастерские, на фабрики, заводы, прядильни, мукомольни, всюду, где нуждались в механической тяге. Тот же сжатый воздух, как мы видели, обеспечивал движение поездов на проходивших по бульварам рейлвеях. Закачивался он в эти просторные подземные резервуары насосами, приводимыми в действие тысячу



восемьсот пятьюдесятью тремя ветряными мельницами, сооруженными на равнине Монружа.

Эта идея, вне всякого сомнения крайне практичная, ибо сводилась к использованию сил природы, имела в лице банкира Бутардена самого горячего проповедника. Он и стал директором упомянутой крупнейшей компании, оставаясь в то же время членом пятнадцати или двадцати наблюдательных советов, вице-президентом Компании тягловых локомотивов, управляющим Отделения объединенных битумных производств и т. д. и т. п.

Сорок лет назад г-н Бутарден сочетался браком с мадемуазель Атенаис Дюфренуа, теткой Мишеля. Для банкира она стала как нельзя более достойной спутницей: угрюмая, некрасивая, расплывшаяся, вылитая учетчица или кассирша, начисто лишенная женского обаяния; зато она была докой в бухгалтерии, прекрасно справлялась с двойной ее ипостасью, а если нужно, изобрела бы и тройную; одним словом, настоящая администраторша, женская особь администратора.

Любила ли она г-на Бутардена и была ли любима им? Да, в той мере, в какой вообще могли любить эти индустриальные сердца. Вот сравнение, которое довершит портрет нашей супружеской пары: она была паровой машиной, а он машинистом-механиком; он поддерживал ее в рабочем состоянии, протирал и смазывал, и она равномерно катилась уже добрых полвека, обнаруживая при этом не больше разума и воображения, чем паровоз Крэмптона.

Излишне говорить, что она никогда не сходила с рельс.

Что касается сына, то помножьте мать на отца – и вы получите Атаназа Бутардена, главного компаньона банковского дома «Касмодаж и К°». Это был в высшей степени приятный молодой человек, унаследовавший от отца веселый нрав, а от матери элегантность. Упаси вас сказать при нем что-либо остроумное; казалось, он воспринимал это как знак неуважения, брови его хмурились, глаза выражали непонимание. На генеральном конкурсе он получил первый приз по банковскому делу. Следовало бы отметить, что он не просто заставлял деньги работать, а вытягивал из них все соки; от него отдавало ростовщичеством. Атаназ Бутарден стремился жениться на девице пострашнее, так чтобы приданое выгодно компенсировало ее дурноту. В двадцать лет он уже носил очки в алюминиевой оправе. Недалекий и шаблонный ум банкирского сынка побуждал его измываться над подчиненными, устраивая им нечто вроде игры в веревочку. Одна из его причуд состояла в том, чтобы поднять переполох по поводу якобы пустой кассы, в то время как она доверху была заполнена золотом и банкнотами. В общем, дрянной человечиска, не знавший молодости, не имевший ни сердца, ни друзей. Отец неподдельно восхищался им.

Вот таким было это семейство, эта троица домашнего масштаба, к кому молодой Дюфренуа оказался вынужден обратиться за помощью и покровительством.

Г-н Дюфренуа-старший, брат г-жи Бутарден, напротив, обладал кротостью чувств и изысканной деликатностью, всеми качествами, которые у его сестры оборачивались острыми углами. Бедный артист, музыкант великого таланта, рожденный для лучшей судьбы, он умер молодым, не выдержав жизненных лишений и оставив сыну в наследство лишь свой поэтический дар, свои способности и устремления.

Мишель знал, что у него где-то есть еще дядя, о коем никогда не упоминалось, один из тех образованных, скромных, бедных и примирившихся с судьбой людей, которые заставляли краснеть состоятельных родственников. Мишелю запрещалось видаться с ним, да наш молодой человек, не будучи с ним знаком, не мог желать с ним повстречаться.

Положение нашего сироты в обществе было, таким образом, строго предопределено: родной дядя, не имеющий возможности помочь ему, с одной стороны, и с другой – семейство, богатое теми достоинствами, что чеканятся на монетном дворе, а в сердце нуждавшееся ровно настолько, насколько необходимо, чтобы проталкивать кровь в артерии.

Так что благодарить Провидение оснований не находилось.

На следующее утро Мишель спустился в кабинет дяди Бутардена, в высшей степени внушительный, со стенами, затянутыми строгой материей. Там его ждали банкир, его супруга и сын. Церемония обещала быть торжественной.

Г-н Бутарден, опершись о камин, одна рука в кармане жилета, заговорил так:

– Месье, прошу вас крепко запечатлеть в вашей памяти слова, которые вы сейчас услышите. Ваш отец был художником. Этим все сказано. Я хотел бы думать, что вы не унаследовали его



злополучные наклонности. Но я обнаружил в вас завязи, которые необходимо уничтожить. Вы охотно путешествуете по зыбучим пескам идеального, и по сию пору наиболее очевидным результатом ваших усилий стал тот приз в латинском стихосложении, что вы позорно заработали вчера. Подсчитаем баланс. У вас нет состояния, что можно расценить как оплошность; еще немного, и вы рисковали остаться без родственников. А я не потерплю поэтов в своей семье, заручите себе это на носу! Я не потерплю здесь субъектов, что плюются рифмами людям в лицо. У вас есть богатая семья, так не компрометируйте ее. Ведь артист недалеко ушел от кривляки, которому я бросаю из своей ложки сто солей,<sup>25</sup> дабы он позабавил меня после обеда. Вы слышите? Никаких талантов, только способности. Поскольку я не заметил в вас никакой специальной пригодности, я решил, что вы будете служить в банке «Касмодаж и К°» под просвещенным началом вашего кузена. Берите с него пример, старайтесь стать практичным! Помните, что в ваших жилах течет и кровь Бутарденов, а чтобы лучше помнить мои слова, позаботьтесь никогда не забывать их.

Как видим, в 1960 году порода Прюдомов<sup>26</sup> вовсе не исчезла; они успешно поддерживали свои превосходные традиции. Чем мог ответить Мишель на подобную тираду? Ничем, и он слушал молча, в то время как тетка и кузен согласно кивали головами.

– Ваши каникулы, – продолжил банкир, – начинаются сегодня утром и заканчиваются сегодняшним вечером. Завтра вас представят главе банковского дома «Касмодаж и К°». Вы свободны.

Когда молодой человек вышел из кабинета дяди, глаза ему застилали слезы, но он собрался с силами, чтобы превозмочь отчаяние.

– Мне достался лишь один день свободы, – сказал он себе, – по крайней мере, я воспользуюсь им так, как мне нравится. У меня есть несколько солей: начнем с основания собственной библиотеки, с книг великих поэтов и знаменитых авторов прошлого века. Вечерами они будут вознаграждать меня за невзгоды прошедшего дня.

## **Глава IV**

### **О некоторых авторах XIX века и о том, как трудно добыть их книги**

---

<sup>25</sup> Соль – одно из старинных названий монеты достоинством в один су (пять сантимов).

<sup>26</sup> Жозеф Прюдом – ставшее нарицательным имя персонажа французского писателя А. Монье – воплощение надутого ничтожества.



Мишель поспешно вышел на улицу и направился к Дому Книги Пяти Частей Света, огромному пакгаузу, расположенному на улице Мира; директор магазина был крупным государственным чиновником.

– Здесь, должно быть, хранятся все творения человеческого ума, – говорил себе юноша.

Он оказался в обширном вестибюле, посередине которого размещалось центральное Бюро заказов, связанное телеграфом с самыми удаленными хранилищами. Кругом безостановочно сновал целый легион служащих; они поднимались к верхним рядам стеллажей на подвесных платформах, приводимых в движение противовесами, скользящими по проложенным в стенах шахтам; носильщики сгибались под тяжестью книг.

Ошеломленный, Мишель напрасно пытался пересчитать бесчисленные тома, вздымавшиеся вверх по стенам к потолку, взгляд его терялся в бесконечных галереях этого императорского учреждения.

«Мне никогда не прочитать все это», – думал он, занимая очередь в Бюро заказов. В конце концов, он оказался перед окошком.

– Что вы желаете, месье? – спросил начальник Отдела заявок.

– Я хотел бы полное собрание сочинений Виктора Гюго, – ответил Мишель.

Чиновник широко раскрыл глаза.

– Виктора Гюго? – переспросил он. – А что он написал?

– Он был одним из величайших поэтов XIX века, даже самым великим, – ответил, краснея, юноша.

– Вам известно это имя? – обратился чиновник к коллеге, начальнику Отдела поиска.

– Никогда не слышал о нем, – ответил тот. – Вы уверены в написании имени? – спросил он Мишеля.

– Абсолютно уверен.

– По правде говоря, – продолжил чиновник, – нам здесь редко приходится продавать литературные произведения. Но, в общем, раз вы уверены... Рюго, Рюго..., – повторял он, телеграфируя.

– Гюго, – поправил Мишель. – Я просил бы вас заодно затребовать Бальзака, де Мюссе, Ламартина.

– Это ученые?

– Нет, писатели!

– Живущие?

– Умершие век тому назад.

– Месье, мы сделаем все возможное, чтобы удовлетворить вашу заявку, но, боюсь, поиски займут много времени, если вообще не окажутся напрасными.

– Я подожду, – ответил Мишель.

Он отошел подальше, его словно оглушили. Так что же, всей этой великой славы не хватило даже на одно столетие! «Восточные мотивы», «Раздумья», «Первые стихотворения», «Человеческая комедия» – все забыто, потеряно, утрачено безвозвратно, кануло в Лету, никому неизвестно!

Между тем гигантские паровые краны опускали в различные залы целые груды книг, а центральное бюро по-прежнему осаждали покупатели. Но одному была нужна «Теория трения» в двадцати томах, другому – «Обзор трудов по проблемам электричества», третьему – «Практический трактат по смазке ведущих колес», еще одному – «Монография о последних открытиях в области рака мозга».

– Ну вот, – говорил себе Мишель. – Науки! Промышленность! Здесь, так же как и в коллеже, гуманитарным искусствам – ноль внимания! А я, как умалишенный, спрашиваю беллетристику, может, я действительно сошел с ума?

Мишель погрузился в раздумья на добрый час; тем временем поиски продолжались, телеграф трещал беспрестанно, то и дело просили подтвердить имена авторов; обыскивали подвалы, чердаки, но все напрасно. Пришлось смириться.

– Месье, – обратился наконец к молодому человеку еще один чиновник, начальник Отдела ответов, – у нас их нет. Без сомнения, эти авторы были мало известны в свое время, их сочинения, очевидно, не переиздавались...

– «Собор Парижской богородицы», – заметил Мишель, – был издан тиражом в пятьсот тысяч экземпляров.

– Готов вам поверить, месье, но если говорить о старых авторах, переиздаваемых в наши дни, то у нас есть только Поль де Кок, моралист прошлого века; кажется, это довольно здорово написано, и если вы желаете...

– Я поищу в другом месте, – возразил Мишель.

– Что ж, вы обегаете весь Париж и ничего не найдете. Если чего нет у нас, этого нет нигде.

– Посмотрим, – бросил Мишель, направившись было к выходу.

– Но месье, – остановил его чиновник, чье усердие вполне могло бы сделать честь приказчику из бакалейной лавки, – может быть, вы желаете приобрести современные литературные произведения? У нас есть несколько изданий, достаточно нашумевших в последние годы; для поэтических сборников они не так плохо расходились...

– А, вот как! – воскликнул прельщенный Мишель. – У вас есть современная поэзия?

– Разумеется. Например, «Электрические гармонии» Мартийяка, сочинение, увенчанное Академией Наук, «Раздумья о кислороде» г-на де Пюльфаса, «Поэтический параллелограмм», «Обезуглероженные оды»...

Мишелю не хватило мочи выслушивать это дальше, и он очутился на улице, обескураженный, ошеломленный! То немногое, что еще оставлено в удел искусству, похоже, также не избежало пагубного влияния эпохи! Значит, наука, химия, механика вторглись и в область поэзии!

– И подобные вещи читают, – повторял он, спеша по улицам, – их, страшно сказать, покупают! И авторы не стесняются подписывать их своим именем! И они занимают место на полках,

отведенных под беллетристику! Напротив, тщетными оказываются поиски Бальзака, Виктора Гюго! Но где же найти их? Ну да, в библиотеке.

Быстрым шагом Мишель направился к Императорской библиотеке; она была существенно расширена и занимала теперь значительную часть зданий по улице Ришелье – между Новой улицей Малых полей и Биржевой. Древние стены Отеля Невер не выдержали натиска беспрестанно поступающих новых книг. Научные труды выпускались ежегодно в баснословных количествах; издательства уже не справлялись, и государство само стало издателем. Даже если умножить в тысячу раз те девятьсот томов, что оставил библиотеке Карл V, итог все равно был бы далек от нынешней цифры: с 800 тысяч экземпляров, накопленных к 1860 году, фонды библиотеки выросли теперь до двух миллионов с лишком.

Мишель попросил, чтобы ему указали те залы, что были отведены под словесность, и поднялся туда по «лестнице иероглифов», па которой кирками вовсю орудовали каменщики, проводя реставрационные работы.

Добравшись до зала словесности, Мишель нашел его безлюдным, но теперь, пребывая в запустении, он возбуждал еще больше любопытства, чем во времена, когда бывал заполнен любознательной публикой. Сюда еще иногда заходили на экскурсию иностранцы, подобно тому как едут поглазеть на Сахару, и им показывали стол, за которым в 1875 году умер один араб, проводивший здесь всю жизнь.

Формальности, необходимые, чтобы получить книгу, оказались, тем не менее, сложными: в требовании за подписью просителя следовало указать название книги, формат, дату публикации, номер издания и имя автора. Словом, если уже не быть ученым, узнать что бы то ни было оказывалось невозможным; более того, заявителю полагалось сообщить свой возраст, адрес, профессию и цель исследований.

Мишель заполнил свое требование в полном соответствии с правилами и протянул его спящему библиотекарю; по примеру последнего служители зала, сидя на расставленных вдоль стен стульях, устрашающе храпели; их обязанности стали столь же совершенной синекурой, как и функции билетеров в театре Одеон.

Внезапно разбуженный библиотекарь взглянул на дерзкого молодого человека, прочел требование и, казалось, был ошеломлен заявкой; после долгого раздумья он, к ужасу Мишеля, направил того к служащему низшего ранга, одиноко работавшему у окна за небольшим столом.

Мишель увидел перед собой человека лет семидесяти, с живым взглядом, улыбкой на лице, с характерным видом ученого, знающего, что ничего не знает. Этот скромный чиновник взял требование и внимательно прочел его.

– Вы спрашиваете авторов девятнадцатого века, – сказал он, – это большая честь для них, мы сможем стереть с них пыль. Мы говорим, месье... Мишель Дюфренуа?

Прочитав это имя, старик живо вскинул голову.

– Так вы – Мишель Дюфренуа! – воскликнул он. – В самом деле, ведь я на вас даже не взглянул!

– Вы меня знаете?

– Знаю ли я вас!..

У старика перехватило дыхание, на его добром лице читалось неподдельное волнение. Он протянул Мишелю руку, и тот, сразу проникшись доверием, горячо пожал ее.

– Я – твой дядя, – произнес наконец этот милый человек, – твой старый дядюшка Югенен, брат твоей бедной матушки.

– Вы! Мой дядя! – вскричал растроганный Мишель.

– Ты меня не знаешь, но я знаю тебя, дитя мое! Я был там, когда ты получал свой замечательный приз за латинское стихосложение, мое сердце билось тогда так сильно, а ты даже не подозревал об этом.

– Дядюшка!

– Ты не виноват, мое дорогое дитя, я знаю это, я держался поодаль от тебя, подальше, чтобы не повредить тебе в глазах семьи твоей тети. Но я шаг за шагом, день за днем следил за твоей учебой! Я говорил себе: не может быть, чтобы сын моей сестры, отпрыск великого артиста со-

вершенно не унаследовал поэтические наклонности своего отца, и я не ошибся, ведь ты сейчас пришел сюда, ко мне, чтобы познакомиться с великими поэтами Франции! Да, дитя мое, я дам тебе эти книги, мы будем читать их вместе, никто не будет мешать нам, это никого не касается. Дай я обниму тебя – впервые!

Старик крепко обнял юношу, который чувствовал, что буквально возрождается в объятиях дяди. За всю прожитую до этой минуты жизнь Мишель не испытал такого отрадного волнения.

– Но скажите же, дядюшка, – спросил он, – как вам удалось быть в курсе событий моей юности?

– Мое дорогое дитя, у меня есть друг, прекрасный человек, которого я очень люблю, это твой преподаватель Ришло, от него я узнал, что ты – в нашем лагере, и убедился в этом на деле. Я читал твоё сочинение по латинскому стихосложению; сюжет, несколько трудный для исполнения, например из-за имен собственных: «Маршал Пелисье на башне Малахова». Но в конечном счете старые исторические сюжеты по-прежнему в моде, и, ей-богу, ты неплохо с этим справился!

– Ну уж! – вставил Мишель.

– Да нет же, – продолжил старый ученый, – ты сделал два долгих и два кратких слога в имени Пелисье и один краткий и два долгих в названии Малахов и ты был прав! Послушай! Я запомнил эти два превосходных стиха:

Jam Pelissiero pendenti ex turre Malacoff  
Sebastopolitam concedit Jupiter urbem...<sup>27</sup>

– Ах, дитя мое, сколько раз из-за этого семейства, которое меня презирает и которое все-таки оплачивало твою учебу, сколько раз случалось мне пожалеть, что не могу прийти тебе на помощь, ободрить тебя в минуты столь прекрасного вдохновения. Но теперь ты будешь навещать меня, и притом часто.

– Каждый вечер, дядюшка, в часы, когда я свободен.

– Но мне кажется, что твои каникулы...

– Какие каникулы! Завтра утром я начинаю службу в банковском доме у моего кузена!

– Ты – в банковском доме! – воскликнул старик. – Ты – в деловом мире! И то правда, кем бы ты мог стать? Бедняга вроде меня не может быть тебе ни в чем полезным. Ах, дитя мое, с твоими идеями, с твоими способностями ты явился на свет слишком поздно, я не осмеливаюсь сказать: слишком рано, ибо то, как идут дела теперь, не оставляет места хотя бы для надежды на будущее!

– Но разве я не могу отказаться, разве я не свободен?

– Нет, ты не свободен. Месье Бутарден, к сожалению, для тебя больше чем дядя – он твой опекун, а я не хочу, я не должен поощрять тебя встать на пагубный путь. Ты молод, работай, чтобы завоевать себе независимость, и тогда, если твои пристрастия не изменятся и если я еще буду на этом свете, приди ко мне.

– Но ремесло банкира мне отвратительно, – волнуясь, возразил Мишель.

– Не сомневаюсь, дитя мое, и если бы у моего очага было место для двоих, я сказал бы тебе: приходи, мы будем счастливы. Но такая жизнь тебя никуда не привела бы, а все устроено так, что обязательно должно куда-нибудь приводить; нет, работай, забудь обо мне на несколько лет – я был бы тебе плохим советчиком. Не говори своему дяде о нашей встрече, это может навредить тебе. Не думай больше о старике, который давно бы умер, если бы не сладостная потребность каждый день навещать своих старых друзей на полках этого зала.

– Когда я стану свободным... – начал Мишель.

– Да, через два года! Тебе сейчас шестнадцать, в восемнадцать ты достигнешь совершеннолетия; мы подождем, но не забывай, Мишель, что у меня для тебя всегда найдется в запасе крепкое рукопожатие, добрый совет и любящее сердце. Ты будешь заходить ко мне, – добавил

---

<sup>27</sup> Судьба Пелисье подвешенной была на башне Малахова, И отдал ему Юпитер город Севастополь... (лат.)



старик, не замечая, что противоречит сам себе.

– Да, да, дядюшка! Где вы живете?

– Далеко, очень далеко отсюда, на равнине Сен-Дени; но благодаря радиальной линии метро, что идет по бульвару Мальзерб, мой дом оказывается буквально в двух шагах. Комната у меня очень маленькая и очень холодная, но с твоим приходом она делается большой, а когда я сожму твои руки в своих – и теплой.

Беседа дяди и племянника продолжалась все в том же духе; старый ученый старался заглушить в молодом человеке прекрасные устремления, которыми сам восхищался, но его слова то и дело опровергали его намерения; дядюшка знал, в какой степени положение человека искусства было ложным, невозможным, унижительным.

Так они беседовали буквально обо всем; добрый старик был подобен старой книге, которую юноша мог бы иногда приходить полистать, но годилась она разве лишь на то, чтобы поведать о давно минувшем.

Мишель рассказал, зачем он пришел в библиотеку, и попросил дядю объяснить, почему литература пришла в такой упадок.

– Литература мертва, дитя мое, – ответил дядя, – посмотри на пустынные залы, на книги, погребенные под слоем пыли; никто их больше не читает, а я как сторож на этом кладбище, где эксгумация запрещена.

В беседе время пролетело быстро.

– Четыре часа, – воскликнул дядюшка, – пришла пора разлучиться.

– Мы будем видеться, – сказал Мишель.

– Да! Нет! Дитя мое, давай никогда не говорить о литературе, ни слова об искусстве! Принимай ситуацию такой, какая она есть, ты прежде всего воспитанник месье Бутардена, а потом уже племянник дядюшки Югенена!

– Позвольте мне проводить вас, – попросил юный Дюфренуа.

– Нет! Нас могут увидеть. Я пойду один.

– Тогда до следующего воскресенья, дядюшка.

– До воскресенья, мое дорогое дитя.

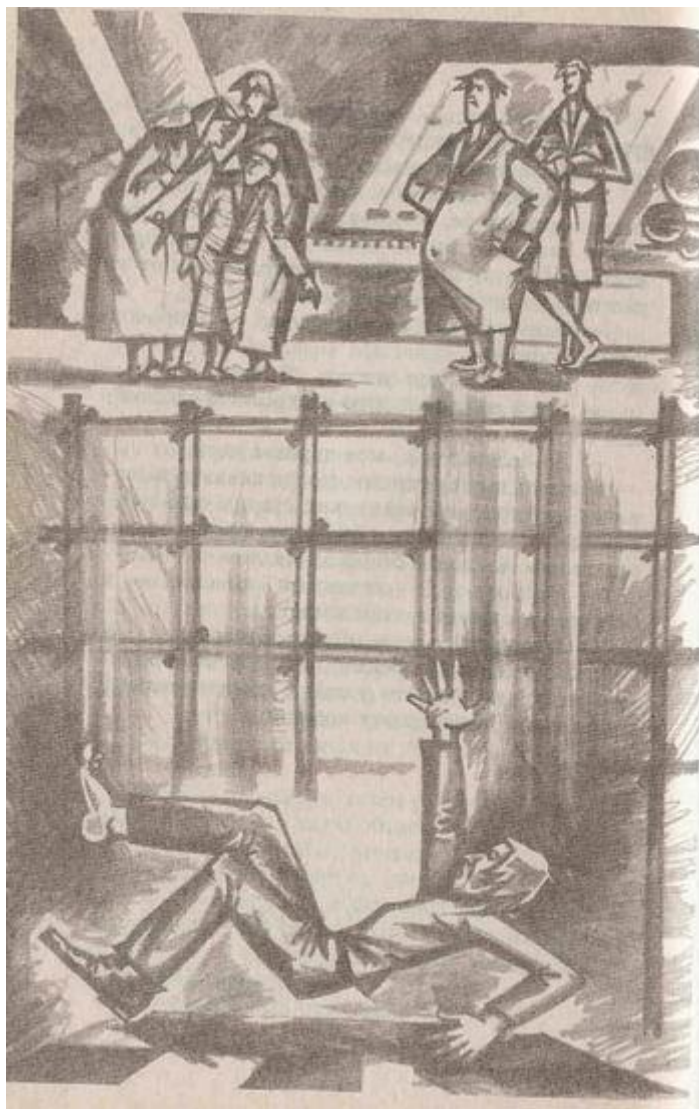
Мишель вышел первым, но специально задержался на улице; он видел, как старик еще твердым шагом направился к бульвару; юноша следовал за ним до самой станции Мадлен.

– Наконец-то, – сказал он сам себе, – я больше не одинок в этом мире!

Он вернулся в особняк Бутарденов. К счастью, семейство обедало в городе, и Мишель мог спокойно провести у себя в комнате первый и последний вечер своих каникул.

## **Глава V**

### **Где речь идет о счетных машинах и о кассах, умеющих защищаться**



На следующее утро в восемь часов Мишель Дюфренуа направился в главную контору банка «Касмодаж и К°»; она размещалась на Новой улице Друо, в одном из зданий, построенных на месте старой оперы. Молодого человека проводили в обширный параллелограмм, оборудованный аппаратами странной конструкции, назначения которых он сначала не понял. Они походили на огромные фортепьяно.

Заглянув в соседний зал, Мишель обнаружил там гигантские, словно крепости, кассы: казалось, еще немного – и на их стенах вырастут зубцы и в каждой без труда разместится гарнизон человек в двадцать.

Мишель не мог удержаться от трепета при виде одетых в броню сейфов.

– Они наверняка выдержат взрыв бомбы, – подумал он.

Вдоль этих монументов степенно прогуливался человек лет пятидесяти с гусиным пером, с самого утра занявшим место за его ухом. Вскоре Мишель узнал, что тот принадлежал к семейству Счетчиков, классу Кассиров; этот пунктуальный, аккуратный, ворчливый и злобный тип инкассировал с энтузиазмом и выплачивал не без горечи; казалось, он считал производимые им платежи актами воровства, опустошавшими его кассу, а поступления – справедливым возмещением. Под его высоким руководством около шестидесяти клерков, экспедиторов, копировщиков торопливо записывали и подсчитывали.

Мишель должен был занять место среди них. Посыльный подвел юношу к важной персоне, явно ожидавшей его прихода.

– Месье, – обратился к нему кассир, – войдя сюда, прежде всего забудьте, что вы – член семьи Бутарденов. Таков приказ.

– Мне ничего большего и не нужно, – отозвался Мишель.

– В начале обучения вы будете приданы машине № 4.

Мишель обернулся и увидел машину № 4. Это был счетный аппарат.

Далеко же ушли вперед от того времени, когда Паскаль сконструировал первое такого рода устройство, казавшееся чудом из чудес! С тех пор архитектор Перро, граф де Стэнхоуп, Томас де Кольмар, Морэ и Жейэ внесли удачные усовершенствования в подобные аппараты.

Банк «Касмодаж» имел в своем распоряжении подлинные шедевры; его машины действительно походили на огромные фортепьяно; нажимая на кнопки клавиатуры, можно было немедленно посчитать суммы, остатки, произведения, коэффициенты, пропорции, амортизацию и сложные проценты за какие угодно сроки и по любым мыслимым ставкам. Самые высокие ноты клавиатуры позволяли получить до ста пятидесяти процентов! Ничто не могло сравниться с этими чудесными машинами, которые без труда побили бы самого Мондэ и (?).<sup>28</sup>

Единственное, что требовалось, это научиться играть, и Мишелю, чтобы поставить пальцы, предстояло брать уроки.

Как видим, он поступал на службу в банк, который призвал себе на помощь и использовал для своих нужд весь потенциал механики.

Ведь в описываемую эпоху избыток текущих дел и обилие корреспонденции придавали исключительную важность оснащенности всевозможным оборудованием.

Так, ежедневная почта банка «Касмодаж» насчитывала по меньшей мере три тысячи писем, отправлявшихся во все концы как Старого, так и Нового света. Машина Лемуара мощностью в пятнадцать лошадиных сил без остановки копировала письма, которыми ее без передышки снабжали пятьсот клерков.

А ведь электрический телеграф должен был бы существенно уменьшить объем переписки, ибо последние усовершенствования позволяли отправителю уже напрямую общаться с получателем; таким образом секрет переписки сохранялся, и самые крупные сделки могли совершаться на расстоянии. Каждая компания имела свои специальные каналы по системе Уитстоуна, уже давно использовавшейся по всей Англии. Курсы бесчисленных ценных бумаг, котируемых на свободном рынке, автоматически выписывались на экранах, помещенных в центре операционных залов бирж Парижа, Лондона, Франкфурта, Амстердама, Турина, Берлина, Вены, Санкт-Петербурга, Константинополя, Нью-Йорка, Вальпараисо, Калькутты, Сиднея, Пекина, Нухивы.

Более того, фотографическая телеграфия, изобретенная в предыдущем веке флорентийским профессором Джованни Казелли, позволяла передавать как угодно далеко факсимиле любой записи, автографа или рисунка, а также подписывать на расстоянии тысяч лье векселя или контракты.

Телеграфная сеть покрывала в ту эпоху всю поверхность суши и дно океанов; Америка не была отдалена от Европы даже на секунду, а в ходе торжественного опыта, осуществленного в Лондоне в 1903 году, два экспериментатора установили между собой связь, заставив свои депеши обежать вокруг земного шара.

Понятно, что в этот деловой век потребление бумаги должно было вырасти до невиданных масштабов. Франция, производившая сто лет назад шестьдесят миллионов килограммов бумаги, теперь съедала триста миллионов. Впрочем, сейчас уже не надо было опасаться, что не хватит тряпья, его успешно заменили альфа, алоэ, топинамбур, люпин и два десятка других дешевых растений. Машины, работавшие по способу Уатта и Бэрджесса, за двенадцать часов превращали древесный ствол в замечательную бумагу; леса ныне использовались не для отопления, а в книгопечатании.

Банковский дом «Касмодаж» одним из первых перешел на бумагу из древесины; для изготовления векселей, ассигнаций и акций ее предварительно обрабатывали дубильной кислотой по Лемпфедеру, что обеспечивало защиту от воздействия химических реагентов, применявшихся фальшивомонетчиками. Поскольку число преступников росло пропорционально росту числа сделок, надо было принимать меры предосторожности.

---

<sup>28</sup> Отсутствует в рукописи. – (Прим. франц. издателя)

Таков был этот банковский дом, где ворочали колоссальными делами. Юному Дюфрену предстояло играть в нем самую скромную роль: стать первым номером obsługi счетной машины; он вступил в должность в тот же день.

Чисто механическая работа для него оказалась крайне сложной: ему не удавалось разжечь в себе священный огонь, и машина довольно плохо слушалась его пальцев; его старания были напрасны, и месяц спустя он ошибался чаще, нежели в первый день, а ведь от усердия он чуть не терял рассудок.

С ним, впрочем, обращались сурово, чтобы подавить любые поползновения к независимости, равно как и артистические наклонности. У Мишеля не оставалось ни одного свободного воскресенья, ни одного вечера, который он мог бы посвятить дядюшке. Единственным утешением было втайне переписываться с ним.

Вскоре юноша впал в уныние, им овладевало отвращение; выполнять работу подручного при машине стало превыше его сил.

В конце ноября у господ Касмодажа, Бутардена-сына и кассира состоялся следующий разговор:

– Этот юноша отличается высочайшей бестолковостью, – говорил банкир.

– Любовь к истине заставляет меня согласиться с этим, – отзывался кассир.

– Он – то, что когда-то именовалось артистом, – подхватывал Атаназ, – и кого мы теперь называем сумасбродом.

– В его руках машина становится опасным орудием, – продолжал банкир, – он нам преподносит сложение вместо вычитания и ни разу не сподобился подсчитать хотя бы пятнадцатипроцентный доход!

– Просто убого, – вторил кузен.

– Но где же занять его? – спросил кассир.

– Читать он умеет? – осведомился г-н Касмодаж.

– Можно предположить, – ответил Атаназ не без сомнения.

– Может быть, использовать его при Главной Книге? Он бы диктовал Кенсоннасу, тот требует подмоги.

– Вы правы, – заметил кузен, – диктовать – максимум, на что он способен, так как у него отвратительный почерк.

– Подумать только, и это в наше время, когда все пишут красиво, – откликнулся кассир.

– Если он не справится с новой работой, – сказал г-н Касмодаж, – он будет годен лишь на то, чтобы подметать помещения!

– И то еще, – обронил кузен.

– Позовите его, – велел банкир. Мишель предстал перед грозным триумvirатом.

– Месье Дюфрену, – обратился к нему глава банковского дома, скривив губы в самой презрительной улыбке, на какую только был способен, – ваша вопиющая непригодность вынуждает нас освободить вас от управления машиной № 4; получаемые вами результаты являются неизменной причиной ошибок в наших книгах, это не может продолжаться.

– Я сожалею, месье... – холодно ответил Мишель.

– Ваши сожаления никому не нужны, – жестко оборвал его банкир, – отныне вы будете приданы Главной Книге. Меня заверили, что вы умеете читать. Вы будете диктовать.

Мишель не проронил в ответ ни слова. Какая была ему разница! Главная Книга или Машина, одно стоило другого! Так что он откланялся, предварительно осведомившись о том, когда ему приступить к новым обязанностям.

– Завтра, – ответил Атаназ, – месье Кенсоннас будет предупрежден.

Наш молодой человек покинул контору, размышляя не о новой работе, а об этом Кенсоннасе,<sup>29</sup> одно имя которого наводило на него страх. Что мог представлять собой этот человек? Какой-нибудь тип, постаревший на переписывании статей Главной Книги, он, наверное, добрых лет шестьдесят занимался подведением баланса текущих счетов, лихорадочно подбивая сальдо и

---

<sup>29</sup> Нечто вроде «квинтозвучащий».

исступленно погашая записи. Одному лишь удивлялся Мишель – что бухгалтера еще не заменили машиной.

И все же он по-настоящему обрадовался, что может расстаться со своей счетной машиной; он гордился тем, что плохо управлял ею; ее сходство с фортепьяно было фальшивым, и это претило юноше.

Закрывшись в своей комнате и погрузившись в размышления, Мишель не заметил, как настала ночь; он лег, но не мог уснуть, в его воспаленном мозгу рождались кошмары. Главная Книга вырастала до фантастических размеров; то ему виделось, что он – иссушенный лист из гербария, зажатый меж белых листов Книги, то он ощущал себя пленником переплета, грозившего раздавить юношу под тяжестью медных оков.

Он приподнялся во власти сильного возбуждения, непреодолимого желания взглянуть на этот чудовищный механизм.

– Конечно, это ребячество, – сказал он сам себе, – но, по крайней мере, все станет ясным.

Он спрыгнул с постели, открыл дверь и, ощупью, спотыкаясь, вытянув руки, моргая в темноте, отважно отправился в конторские помещения.<sup>30</sup>

В просторных залах было темно и тихо, а ведь днем их заполнял тот характерный для банков шум, что складывается из громохання высыпаемого из мешков серебра, перезвона золотых монет, шуршания банкнот, скрипа перьев по бумаге. Мишель двигался наудачу, теряясь в этом лабиринте; не будучи по-настоящему уверен в местонахождении Главной Книги, он все-таки продвигался. Ему пришлось пройти через машинный зал, он различал в темноте счетные машины.

– Они спят, – подумал юноша, – они не считают!

И он продолжил свою рекогносцировку, свернув в зал, где были расположены гигантские кассы, то и дело наталкиваясь на них.

Вдруг он почувствовал, что почва уходит у него из-под ног, раздался жуткий грохот; двери залов с лязгом закрылись; засовы и задвижки мигом упали в свои пазы; оглушительно заревели спрятанные в карнизах сирены; все залы внезапно залились светом, в то время как Мишель продолжал скользить вниз, будто проваливался в какую-то бездонную пропасть.

Испуганный, охваченный паникой, в момент, когда твердая почва вновь, казалось, появилась под ногами, он хотел было убежать. Как бы не так! Он очутился в стальной клетке.

К нему бросились полуодетые люди.

– Это вор! – кричал один.

– Он пойман! – отзывался другой.

– Пошлите за полицией!

Мишелю не понадобилось много времени, чтобы распознать среди свидетелей своего несчастья г-на Касмодажа и кузена Атаназа.

– Вы? – воскликнул один.

– Он? – вскричал другой.

– Вы собирались очистить мою кассу! – Только этого еще не хватало!

– Да он лунатик, – заметил кто-то.

Большинство людей в ночных рубашках присоединилось к этому последнему мнению, что и спасло честь юного Дюфренуа. Пленник, невинная жертва усовершенствованных касс, что умеют сами защитить себя, был освобожден.

Ведь протягивая перед собой в темноте руки, Мишель притронулся к Кассе ценностей, чувствительной и целомудренной, как юная девушка; сразу же включился механизм безопасности, подвижной пол развернулся, а в залах под стук резко захлопнувшихся дверей зажглось электрическое освещение. Служащие, разбуженные мощными гудками, бросились к клетке, провалившейся в подвал.

– Теперь будете знать, – сказал банкир молодому человеку, – как прогуливаться там, где вам нечего делать!

---

<sup>30</sup> В начале главы автор помещает банковские залы в другое здание.



Мишель, сгоравший от стыда, не нашел, что ответить.

– А какой хитроумный механизм! – воскликнул Атаназ.

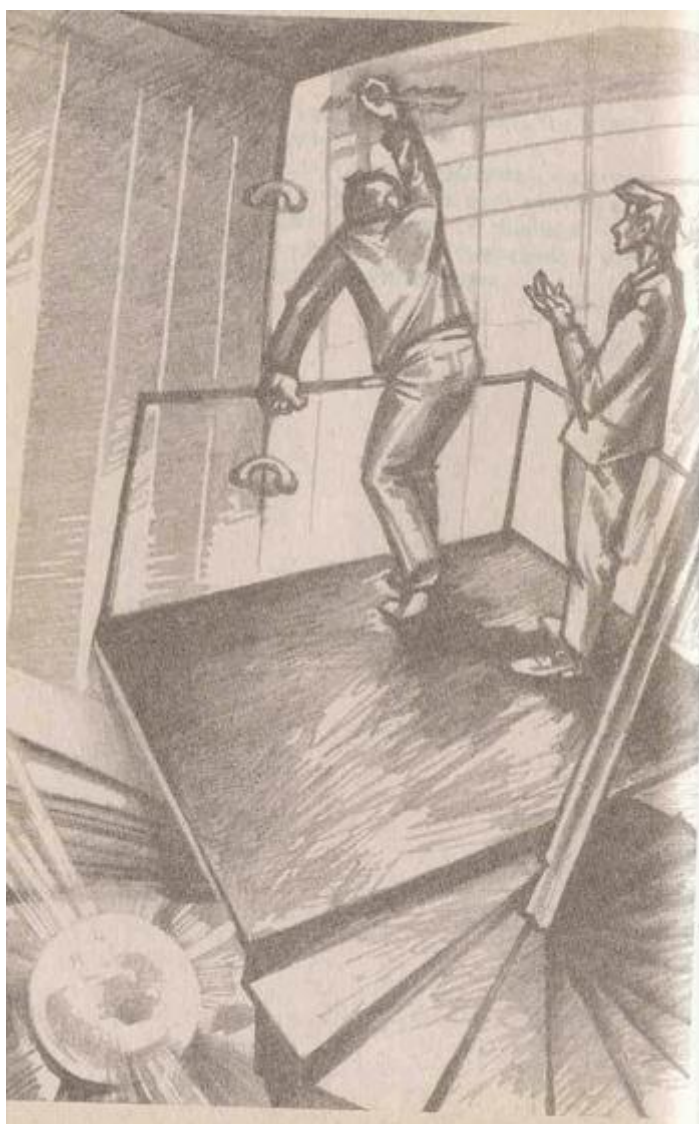
– И все же, – возразил ему г-н Касмодаж, – его только тогда можно будет назвать совершенным, когда вор, заключенный в запечатанный вагон, с помощью толкающего пружинного устройства будет напрямую доставляться в полицейскую префектуру!

– Более того, – подумал Мишель, – когда машина сама будет применять к вору статью кодекса, трактующую о грабежах со взломом!

Но он оставил про себя это замечание и убежал под насмешки присутствующих.

## **Глава VI**

### **В которой Кенсоннас появляется на самой вершине Главной Книги**



На следующее утро Мишель, провожаемый ироническими перешептываниями клерков, направился в распоряжение бухгалтерии; молва о его ночном приключении уже распространилась, и мало кто мог удержаться от смеха.

Мишель вошел в огромный зал, увенчанный куполом из матового стекла; прямо посередине, опираясь на единственную стойку – настоящий шедевр механики – возвышалась Главная Книга банковского дома. Она заслуживала названия Великой в большей степени, нежели сам Людовик XIV; в ней было двадцать футов высоты, искусный механизм позволял поворачивать ее, подобно телескопу, направляя к любой точке горизонта; хитроумная конструкция из легких мостков опускалась или подымалась в зависимости от нужд писца.

На белых листах в три метра шириной фиксировались трехдюймовыми буквами текущие операции банка. Выписанные золотыми чернилами титулы «Выплаты из касс», «Поступления в кассу», «Суммы, служащие объектом переговоров» были приятны взгляду знатоков. Другими цветными чернилами выделялись переносы и нумерация страниц, что же до цифр, они восхитительно располагались колонками, удобными для сложения, франки сверкали вишнево-красным цветом, а сантимы, рассчитанные до третьей цифры после запятой, светились темно-зеленым.

Мишеля вид этого монумента ошеломил. Он спросил г-на Кенсоннаса.

Ему указали на молодого человека, взгромоздившегося на самые высокие мостки; поднявшись по винтовой лестнице, Мишель через несколько секунд очутился на вершине Главной Книжки.

Г-н Кенсоннас неподражаемо уверенной рукой вырисовывал заглавную букву «Ф» в три фута высотой.

– Месье Кенсоннас, – обратился Мишель.

– Входите, – ответил бухгалтер, – с кем имею честь?

– Месье Дюфренуа.

– Не вы ли герой приключения, который...

– Я тот герой, – отважно ответил Мишель.

– Это вам в похвалу, – отозвался Кенсоннас. – Вы честный человек: вор не дал бы себя схватить. Так я думаю.

Мишель пригляделся к собеседнику: не издевается ли тот над ним? Пугающе серьезный вид бухгалтера опровергал подобное предположение.

– Я к вашим услугам, – сказал Мишель.

– А я – к вашим, – ответил копировщик.

– Что я должен делать?

– А вот что: не спеша и четко диктовать мне статьи текущих записей, которые я переносу на Главную Книгу. Не ошибайтесь, соблюдайте интонацию. Грудным голосом! Никаких оговорок! Одна поправка, и меня выставят за дверь.

На этом введение в курс дела закончилось, и они приступили к работе.

Кенсоннасу едва исполнилось тридцать лет, но он хранил столь серьезный вид, что выглядел на все сорок. Лучше было, однако, не присматриваться к нему излишне внимательно, ибо в конце концов за маской этого наводящего дрожь глубокомыслия проглядывали признаки тщательно скрываемой жизнерадостности и бесовского остроумия. По прошествии трех дней Мишелю стало казаться, что он замечает нечто в этом роде.

Между тем среди клерков бухгалтер пользовался прочно утвердившейся репутацией простофили, если не сказать дурачка; о нем ходили истории, на фоне которых поблекли бы все Калино того времени! Но он обладал двумя бесспорными достоинствами: аккуратностью и красивым почерком; ему не было равных в письме шрифтом «Гранд Батард» или же «Обращенным английским».

Что касается аккуратности, вряд ли следовало требовать от него большего, если помнить, что благодаря своей вошедшей в поговорку тупости Кенсоннас был освобожден от двух повинностей, столь неприятных для любого клерка: от обязанности заседать в суде присяжных и служить в Национальной гвардии. Оба эти великих института еще функционировали в году Божьей милостью 1960-м.

Вот при каких обстоятельствах Кенсоннас оказался вычеркнутым из списков и того, и другого.

Примерно год назад судьба привела его на скамью присяжных. Слушалось уголовное дело, весьма серьезное, но, главное, затянувшееся: судебное заседание продолжалось уже добрую неделю. Наконец появилась надежда покончить с ним: начался допрос последних свидетелей. Но в расчет не приняли Кенсоннаса. В самый разгар слушаний он поднялся и попросил у председательствующего разрешения задать вопрос обвиняемому. Разрешение было дано, и обвиняемый ответил на вопрос присяжного.

– Ну что же, – громко заявил Кенсоннас, – ясно, что обвиняемый не виновен.

Представьте себе эффект! Ведь присяжным в ходе судебной процедуры запрещено высказывать свое мнение, иначе ее должны объявить недействительной! Из-за промаха Кенсоннаса дело передали на новое слушание. И все пришлось начинать сначала. А поскольку неисправимый присяжный невольно, а вернее по простоте, каждый раз совершал ту же ошибку, ни одно дело не представлялось возможным довести до конца!

В чем упрекнуть несчастного Кенсоннаса? Ясно, что, возбужденный судебным диспутом, он просто не мог удержаться, слова сами вырывались из его уст! Это было как бы врожденное увечье, но правосудию нельзя мешать идти своим чередом – и Кенсоннаса окончательно вычеркнули из списков присяжных.

А вот что приключилось с его службой в Национальной гвардии.

В первый же раз, как его поставили на пост у дверей мэрии, он взял свою роль всерьез: принял стойку часового, со вскинутым ружьем и пальцем на спусковом крючке, готовый, казалось, открыть огонь, как если бы ждал, что из соседней улицы появится враг. Естественно, рьяный часовой стал привлекать внимание, перед его будкой собирались люди, кто-то из прохожих добродушно улыбался. Это не пришлось по вкусу пылкому национальному гвардейцу; он задержал сначала одного, затем второго, третьего; через два часа дежурства у него набрался полный участок арестованных. Можно было подумать, что происходит бунт.

Что могли поставить ему в вину? Он имел на то право, он утверждал, что его оскорбляли при несении службы, а он-де испытывал священный трепет перед флагом. Сцена повторилась при следующем дежурстве Кенсоннаса, а поскольку не представлялось возможным умерить ни его рвение, ни его чувство собственного достоинства, впрочем весьма заслуживающее уважения, от его услуг отказались.

В общем, Кенсоннас прослыл дурачком, но зато он отделался как от заседаний в суде присяжных, так и от службы в Национальной гвардии.

Избавившись от этих двух великих общественных повинностей, он стал образцовым писарем-бухгалтером.

В течение месяца Мишель только и делал, что диктовал; работа была легкой, но не оставляла ему ни секунды свободного времени; Кенсоннас писал, а подчас, когда молодой Дюфренуа принимался с вдохновением декламировать статьи Главной Книги, бросал на него удивительно проницательный взгляд.

– Станный малый, – думал про себя писец, – ведь он кажется явно более сообразительным, чем требуется для такой работы. Почему же его поставили сюда, его, племянника Бутардена? Не с тем ли, чтобы заменить меня? Вряд ли! Он пишет как курица лапой. Может быть, этот юноша действительно идиот? Я должен узнать это наверняка.

Со своей стороны, Мишель предавался сходным размышлениям.

– Этот Кенсоннас, должно быть, скрывает свою игру! – говорил он себе. – Совершенно очевидно, что он не рожден для того, чтобы до бесконечности выписывать буквы Ф или М. Временами мне кажется, что я слышу, как он хохочет в душе. О чем он думает?

Так коллеги по Главной Книге наблюдали друг за другом; случалось, они обменивались честным, открытым взглядом, в котором проскакивала искра общительности. Долго так не могло продолжаться: Кенсоннас умирал от желания расспросить, а Мишель открыться. И в один прекрасный день, сам не зная как, уступив потребности излить душу, Мишель принялся рассказывать; он сделал это на едином порыве, обуреваемый слишком долго сдерживаемыми чувствами. Кенсоннас, явно взволнованный, горячо пожал руку своего юного компаньона.

– Но ваш отец? – спросил бухгалтер.

– Он был музыкантом.

– Не может быть! Тот самый Дюфренуа, что оставил нам последние страницы, которыми может гордиться музыка?

– Он самый.

– Он был гением, – с горячностью продолжил Кенсоннас, – бедным и непризнанным, а для меня, мое дорогое дитя, он был еще и учителем!

– Вашим учителем? – воскликнул ошеломленный Мишель.

– Да, именно! – подтвердил Кенсоннас, размахивая своим огромным пером. – К черту секреты! Io son pictor! Я – музыкант!

– Артист! – вскричал Мишель.

– Да, но не так громко, а то меня уволют, – сказал Кенсоннас, умеряя энтузиазм юноши.

– Но...

– Здесь я бухгалтер; пока что копировщик кормит музыканта, до того, как...

Он запнулся, пристально глядя на Мишеля.

– До того, как вы...

– До того, как мне удастся придумать какую-нибудь практическую идею.

– В области промышленности, – разочарованно проронил Мишель.

– Нет, сын мой, – отеческим тоном промолвил Кенсоннас. – В области музыки!

– Музыка?

– Тише, не спрашивайте меня, это тайна, я ведь хочу, чтобы моя идея стала сюрпризом века! Не смейтесь, в наше время смех наказывается смертной казнью, с этим не шутят!

– Сюрпризом века, – машинально повторял юноша.

– Таков мой девиз, – подтвердил Кенсоннас. – Если наш век нельзя очаровать, то надо хотя бы удивить его! Как и вы, я запоздал родиться ровно на сто лет, так делайте, как я, работайте, зарабатывайте себе на хлеб, раз нужно удовлетворить эту отвратительную потребность – кормиться. Если хотите, я научу вас уверенности в себе. Вот уже пятнадцать лет, как я недокармливаю сидящую во мне личность, и мне понадобилось иметь хорошие зубы, чтобы разгрызть все, что судьба подбрасывала мне на язык, но, хорошенько работая челюстями, с этим можно управиться! К счастью, мне удалось приобрести нечто вроде профессии: как говорят, у меня красивый почерк. Черт возьми, а если бы я потерял руку, что бы я делал? Ни фортепьяно, ни Главной Книги! Да ладно, со временем можно было бы научиться играть ногами. Да, да! Я это всерьез, вот уж что могло бы удивить наш век.

Мишель не смог удержаться от смеха.

– Не смейтесь, несчастный, – продолжил Кенсоннас, – в доме Касмодаж это запрещено! Посмотрите на меня, моим лицом только дрова колотить, от него разит таким холодом, что можно было бы в разгар июля заморозить бассейн Тюильри. Вы должны знать, что американские филантропы когда-то придумали заключать осужденных в круглые камеры, чтобы отнять у них малейшую возможность отвлечься – даже на утлы. Так вот, сын мой, нынешнее общество круглое – как те камеры! А потому в нем безнадежно умирают от скуки!

– Но, – возразил Мишель, – мне кажется, что в глубине вашей души искорка веселости...

– Здесь – ни в коем случае! У меня дома – другое дело. Заходите ко мне, вы услышите хорошую музыку, музыку старого доброго времени.

– Когда вы того пожелаете, – с радостью согласился Мишель, – но мне надо суметь освободиться...

– Ба, я скажу, что вам необходимо брать уроки диктовки. Но здесь я больше не потерплю этих подрывных разговоров! Я – колесико, вы – колесико. Будем крутиться и повторять молитвы Святой Бухгалтерии!

– Выплаты из кассы, – забубнил Мишель.

– Выплаты из кассы, – вторил ему Кенсоннас.

И работа возобновилась. С этого дня жизнь молодого Дюфренуа претерпела существенные изменения: у него нашелся друг, ему было с кем поговорить, его могли понять; он познал счастье, как немой, вновь обретший дар речи. Вершина Главной Книги не представлялась ему более в виде пустынного пика, теперь он дышал там свободно. Вскоре приятели перешли на ты.

Кенсоннас делился с Мишелем всем, что ему удалось познать в жизни, а юноша в часы бессонницы размышлял об обманутых ожиданиях, свойственных бренному миру. По утрам Мишель приходил на работу распаленным ночными мыслями, заводил разговоры с музыкантом, и тому не удавалось заставить друга замолчать.

Вскоре Главная Книга стала не поспевать за дневными операциями.

– Из-за тебя мы как-нибудь допустим серьезную ошибку, – не переставал твердить Кен-



соннас, – и нас выставят за дверь.

– Но мне необходимо выговориться, – отвечал Мишель.

– Ну ладно, – сказал в один прекрасный день Кенсоннас, – ты придешь ко мне на обед и не далее, как сегодня вечером, там еще будет мой друг Жак Обанэ.

– К тебе! Но разрешение?

– Я получил его. Так на чем мы остановились?

– Из кассы на ликвидность... – возобновил диктовку Мишель.

– Из кассы на ликвидность, – повторил Кенсоннас.

## **Глава VII**

### **Три бесполезных для общества рта**



Когда рабочий день кончился, друзья отправились домой к Кенсоннасу, на улицу Приют красавиц. Они шли под руку, Мишель наслаждался свободой, выступая шагом завоевателя.

От здания банка до улицы Приют красавиц путь оказался неблизким. Но в ту пору очень трудно было найти жилье в столице с ее пятью миллионами жителей: становились все просторнее площади, прокладывались новые авеню и бульвары, и для жилых домов земли оставалось угрожающе мало. Справедливо говорили тогда: в Париже домов больше нет, есть только улицы!

Иные кварталы вовсе остались без жителей, например остров Сите, целиком занятый зданиями Коммерческого суда, Дворца правосудия, Префектуры полиции, собора, морга, то есть всем, что необходимо, чтобы тебя объявили банкротом, осудили, бросили в тюрьму, похоронили и даже выудили из реки. Общественные здания вытеснили жилые дома.



Вот почему снять квартиру было так дорого. Всеобщая Императорская Компания Недвижимости на пару с Земельным Кредитом владела почти всем Парижем, что приносило замечательные дивиденды. Упомянутая компания, основанная двумя искусными финансистами XIX века – братьями Перейр, овладела также другими главными городами Франции – Лионом, Марселем, Бордо, Нантом, Страсбуром, Лиллем, мало-помалу перестроив их. Ее акции, пять раз удваивавшие стоимость, котировались на свободном Биржевом рынке на уровне 4450 франков.

Малообеспеченные люди, если не хотели уезжать из делового центра, вынуждены были селиться на верхних этажах. Выигрывая в расстоянии, они столько же проигрывали, поднимаясь на верхотуру, страдая теперь не столько от потери времени, сколько от усталости.

Кенсоннас жил на двенадцатом этаже, в старом доме с лестницей, которую не мешало бы заменить подъемником. Но музыкант забывал об этом, стоило ему очутиться у себя в квартире.

Друзья подошли к дому, и Кенсоннас устремился вверх по виткам лестничной спирали.

– Пусть тебя не пугает этот бесконечный подъем, – крикнул он Мишелю, поспешавшему за возносившимся ввысь другом, – мы доберемся до цели, на этом бренном свете все имеет конец, даже лестницы! Вот и пришли, – сказал музыкант в завершение изнурительного восхождения, открывая дверь квартиры.

Он подтолкнул юношу в «свои апартаменты» – комнату в шестнадцать квадратных метров.

– Прихожей нет, – объяснил Кенсоннас, – она нужна людям, заставляющим других ждать, а поскольку толпа просителей никогда не бросится на мой двенадцатый этаж по той естественной причине, что нельзя броситься снизу вверх, я обхожусь без подобной роскоши. Я также отказался от гостиной, которая слишком подчеркнула бы отсутствие столовой.

– Но мне нравится у тебя, – возразил Мишель.

– По крайней мере, здесь чистый воздух, насколько это позволяют аммиачные испарения парижской грязи.

– На первый взгляд комната кажется небольшой.

– И на второй тоже, но мне хватает.

– Впрочем, квартира хорошо распланирована, – заметил, смеясь, Мишель.

– Ну что, матушка, – обратился Кенсоннас к появившейся в дверях старой женщине, – обед поспекает? Нас будет трое голодных.

– Поспекает, месье Кенсоннас, – ответила прислуга, – но я не смогла накрыть за неимением стола.

– Обойдемся! – воскликнул Мишель, находивший очаровательной перспективу отобедать, используя вместо стола колени.

– То есть как это – обойдемся? – возразил Кенсоннас. – Неужели ты думаешь, что я приглашу друзей на обед, если не могу усадить их за стол?

– Но я не вижу... – начал было Мишель, тщетно оглядываясь вокруг себя.

В комнате, действительно, не было ни стола, ни кровати, ни шкафа, ни комода, ни стула; никакой мебели, зато солидных размеров фортепьяно.

– Ты не видишь, – прервал друга Кенсоннас. – Ты что же, забываешь о промышленности, нашей доброй матери, и о механике, столь же доброй дочери? Вот тебе искомый стол.

С этими словами хозяин подошел к фортепьяно, нажал на кнопку, и оттуда прямо-таки выскочил стол со скамьями, за которым свободно могли усесться трое сотрапезников.

– Как остроумно! – воскликнул Мишель.

– К этому неизбежно должно было прийти, – пояснил музыкант, – поскольку крохотные размеры квартир не позволяют более обзаводиться мебелью разного предназначения. Посмотри на сей сложный инструмент, произведенный «Объединенными компаниями Эрар и Жансельм», он заменяет все и вся и не загромождает комнату, а фортепьяно, поверь мне, от того хуже не стало.

В этот момент у двери позвонили. Кенсоннас объявил о приходе своего друга Жака Обанэ, служащего Генеральной компании морских рудников. Мишель и Жак были представлены друг другу без излишних церемоний.

Красивый молодой человек лет двадцати пяти, Жак Обанэ был весьма близок с Кенсонна-

сом; как и пианист, он не нашел своего места в обществе. Мишель не знал, какого рода работу приходилось выполнять служащим Компании морских рудников, но аппетит Жак оттуда вынес прямо волчий.

К счастью, обед был готов, и трое молодых людей набросились на него. Когда прошли первые мгновения этой беспощадной борьбы со съестным и куски начали исчезать с меньшей скоростью, мало-помалу сквозь жующие челюсти стали пробиваться слова.

– Мой дорогой Жак, – сказал Кенсоннас, – представляя тебе Мишеля Дюффренуа, я хотел познакомить тебя с молодым человеком «из наших», одним из тех бедолаг, в способностях которых не нуждается наше общество, одним из тех бесполезных ртов, на которые вешают замок, чтобы не кормить их.

– А, так месье Дюффренуа – мечтатель! – заметил Жак.

– Поэт, друг мой! И я спрашиваю тебя: зачем пришел он в наш мир, где первая обязанность человека – зарабатывать деньги?

– Действительно, – подхватил Жак, – он ошибся планетой.

– Друзья мои, – вставил Мишель, – ваши слова не очень-то обнадеживают, но я делаю скидку на страсть к преувеличению.

– Посмотри на это милое дитя, – продолжил Кенсоннас, – он надеется, он сочиняет, он восторгается хорошими книгами, и теперь, когда больше не читают ни Гюго, ни Ламартина, ни Мюссе, он еще рассчитывает, что будут читать его! Несчастный, разве ты изобрел утилитарную поэзию, литературу, которая заменила бы водяной пар или тормоз мгновенной остановки? Нет? Так нажми же на свой тормоз, сын мой! Если ты не сможешь поведать нечто удивительное, кто станет тебя слушать? Искусство в наши дни возможно, только если оно преподносится с помощью какого-нибудь трюка. Сейчас Гюго читал бы свои «Восточные мотивы», совершая кульбиты на цирковых лошадях, а Ламартин декламировал бы «Гармонии», висая вниз головой на трапеции.

– Ну уж, – подскочил Мишель.

– Спокойно, дитя, – удержал его пианист, – спроси у Жака, прав ли я.

– Сто раз прав! – подтвердил Жак. – Нынешний мир – лишь один большой рынок, огромная ярмарка, и его приходится развлекать балаганными фокусами.

– Бедный Мишель, – вздохнул Кенсоннас, – приз за латинское стихосложение, должно быть, вскружил ему голову!

– Что ты хочешь доказать? – спросил юноша.

– Ничего, сын мой, в конечном счете ты следуешь своему предназначению. Ты – великий поэт! Я читал твои произведения, позволь мне только сказать, что они не отвечают вкусам века.

– То есть как?

– Да так! Ты берешь поэтические сюжеты, а для поэзии нынешнего времени это – заблуждение. Ты воспевашь луга, долины, облака, звезды, любовь, все, что относится к прошлому, а теперь никому не нужно.

– Но о чем же тогда писать? – спросил Мишель.

– В стихах надо славить чудеса промышленности!

– Никогда! – вскричал Мишель.

– Он это хорошо сказал, – заметил Жак.

– Послушай, – настаивал Кенсоннас, – знаешь ли ты оду, получившую месяц тому назад премию сорока де Бройлей, заполонивших Академию?<sup>31</sup>

– Нет.

– Так слушай и учись! Вот две последние строфы:<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Очевидно, имеются в виду Леонс-Виктор де Брой, министр Луи-Филиппа, и его сын Альбер, историк и политический деятель, оба были избраны членами Французской Академии, состоящей из сорока «бессмертных». Кстати, двое внуков последнего, известные физики, уже в XX веке также были избраны во Французскую Академию.

<sup>32</sup> Стихотворный перевод А. Рыбаковой.

По трубе раскаленной гиганта-котла  
Льется сжигающий пламень угля.  
Нет равных сверхжаркому монстру верзил!  
Дрожит оболочка, машина ревет  
И, паром наполнившись, мощь выдает  
Восьмидесяти лошадиных сил.

Но велит машинист рычагу тяжеленному  
Заслонки открыть, и по цилиндру толстеному  
Гонит поршень двойной, извергающий стон!  
Буксуют колеса! Взмыла скорость на диво!  
Свисток оглушает!.. Салют локомотиву  
Системы Крэмpton!

– Какой ужас! – вскричал Мишель.

– Отлично зарифмовано, – заметил Жак.

– Так вот, сын мой, – безжалостно продолжал Кенсоннас, – дай же Бог, чтобы тебе не пришлось зарабатывать на жизнь своим талантом. Бери пример с нас: мы в ожидании лучших дней принимаем действительность как неизбежное.

– А что, – спросил Мишель, – месье Жак также вынужден заниматься каким-нибудь омерзительным ремеслом?

– Жак работает экспедитором в одной промышленной компании, – пояснил Кенсоннас, – что, к его великому сожалению, вовсе не означает, что он участвует в каких-либо экспедициях.

– Что он хочет этим сказать? – спросил Мишель.

– Он хочет сказать, – ответил Жак, – что я желал бы быть солдатом.

– Солдатом? – воскликнул, удивляясь, юноша.

– Да, солдатом! Это прекрасное ремесло, которым еще пятьдесят лет назад можно было достойно зарабатывать на жизнь.

– Если только не потерять ее столь же достойно, – заметил Кенсоннас. – Но все равно, этот путь закрыт, поскольку армии больше нет – разве только что податься в жандармы? В иную эпоху Жак поступил бы в Военное училище или пошел бы служить по контракту и тогда, побеждая и терпя поражения, стал бы генералом, как Тюренн, или же императором, как Бонапарт. Однако, мой храбрый боец, теперь от этого приходится отказаться.

– Не скажи, кто знает! – возразил Жак. – Да, верно, Франция, Англия, Россия, Италия отравили своих солдат по домам. В прошлом веке усовершенствование орудий войны зашло так далеко, что они сделались смешными, и Франция не могла удержаться от смеха...

– А посмеявшись, была разоружена, – вставил Кенсоннас.

– Да, злой шутник! Согласен, кроме старой Австрии, все европейские государства покончили с милитаризмом. Но означает ли это, что покончено с присущими человеку от природы воинственными наклонностями и со столь же естественно присущим правительствам стремлением к завоеваниям?

– Без сомнения, – ответил музыкант.

– Это отчего же?

– А оттого, что наилучшим оправданием существования этих наклонностей была возможность их удовлетворить. Как говаривали в старые добрые времена, ничто так не подталкивает к войне, как вооруженный мир! Если ты упразднишь живописцев, больше не будет живописи, скульпторов – скульптуры, музыкантов – музыки, а упразднишь военных – больше не будет войн! Солдаты – те же артисты!

– Да, верно! – воскликнул Мишель, – я тоже вместо того, чтобы заниматься своим мерзким ремеслом, лучше записался бы в армию!

– А, и ты туда же, малыш, – бросил Кенсоннас. – Не хочешь ли ты, случайно, в драку?

– Драка, – ответил Мишель, – согласно Стендалю, одному из самых великих мыслителей прошлого века, возвышает душу.

– Конечно, – согласился пианист, добавив: – Но каким же складом души, каким характером надо обладать, чтобы нанести удар саблей?

– Да, чтобы ударить от души, характера потребуется немало, – заметил Жак.

– И еще больше, чтобы этот удар удачно отразить, – отпарировал Кенсоннас. – Ну ладно, друзья, может быть, вы и правы в каком-то смысле, и я, не исключено, посоветовал бы вам стать солдатами, если бы еще существовала армия; достаточно немного пофилософствовать, и выйдет, что служба в армии – хорошее ремесло! Но раз уж Марсово поле превращено в коллеж, надо отказать от мысли о войне.

– К этому вернуться, – возразил Жак. – В один прекрасный день случатся непредвиденные осложнения...

– Я не верю ни одному твоему слову, мой храбрый друг, потому как воинственные идеи уходят в прошлое и даже понятия о чести вместе с ними. Когда-то во Франции боялись стать смешными, а всем известно, что стало теперь с представлениями о чести! На дуэлях больше не бьются, это вышло из моды; либо заключают сделку, либо подают в суд. А если больше не бьются ради чести, станут ли делать это ради политики? Если люди не желают более брать в руку шпагу, с какой стати правительствам вытаскивать ее из ножен? Боевые сражения никогда не были столь частыми, как во времена дуэлей. Нет больше дуэлянтов – нет и солдат.

– Ну, эта порода возродится, – настаивал Жак.

– С какой стати, ведь торговые связи сближают народы. Разве не вложены в наши коммерческие предприятия банкноты англичан, рубли русских, доллары американцев? Разве деньги не враг свинцу, а кипа хлопка не стала заменой пуле?<sup>33</sup> Осмотрись, Жак! Разве не превращаются англичане, пользуясь правом, в котором сами отказывают нам, в крупнейших землевладельцев Франции? Им принадлежат колоссальные территории, почти целые департаменты, и не завоеванные, а оплаченные, что надежнее! Мы не обратили на это внимания, пустили на самотек; а в результате они завладеют всей нашей землей и возьмут реванш за захват Англии Вильгельмом-Завоевателем.

– Дорогой мой, – отвечивал Жак, – запомни, что я сейчас скажу, а вы, молодой человек, послушайте, ибо это – кредо века. Сказано: «Что знаю я?» – это в эпоху Монтеня, может быть, даже Рабле; «А мне какое дело?» – это девятнадцатый век. Теперь же говорят: «А какую прибыль это принесет?» Так вот, в день, когда война сможет стать прибыльной, уподобившись промышленному предприятию, она и разразится.

– Ну уж, война никогда не приносила никакой прибыли, особенно во Франции.

– Потому что дрались за честь, а не за деньги, – возразил Жак.

– Так что же, ты веришь, что грядет армия бесстрашных торговцев?

– Вне сомнения. Вспомни американцев и их ужасную войну 1863 года.

– Ладно, дорогой мой, но такая армия, ведомая в бой страстью к наживе, станет армией не солдат, а отвратительных грабителей!

– Она тем не менее продемонстрирует чудеса отваги, – упорствовал Жак.

– Воровские чудеса, – отрезал Кенсоннас. Все трое рассмеялись.

– И вот к чему мы пришли, – продолжил пианист. – Мишель – поэт, Жак – солдат, Кенсоннас – музыкант, и все это в эпоху, когда больше нет ни музыки, ни поэзии, ни армии! Мы просто идиоты! Ну ладно, мы разделились с обедом, он был весьма содержательным, по крайней мере в том, что касается беседы. Перейдем к иным упражнениям.

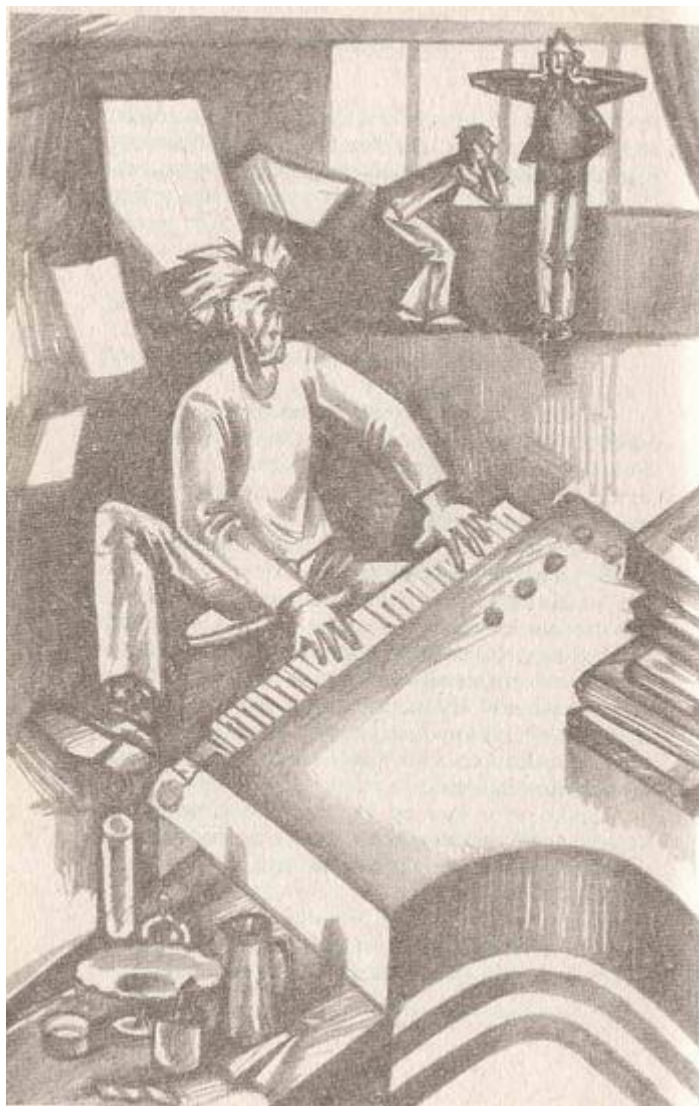
После того как со стола было убрано, он вернулся в отведенную ему нишу, и фортепьяно снова заняло свое почетное место.

---

<sup>33</sup> Во французском – игра слов: «кипа» и «пуля» звучат одинаково – balle.

## Глава VIII

### Где речь идет о старинной и современной музыке и о практическом применении некоторых инструментов



- Наконец-то мы уделим немного внимания музыке, – воскликнул Мишель.
- Только не надо современной музыки, – сказал Жак, – она слишком трудна...
- Для понимания – да, – ответил Кенсоннас, – для сочинения – нет.
- То есть как? – спросил Мишель.
- Сейчас объясню, – продолжил Кенсоннас, – и подкреплю мои слова выразительным примером. Мишель, потрудись открыть фортепьяно.
- Юноша повиновался.
- Хорошо. А теперь садись на клавиши.
- Как? Ты хочешь...
- Садись, говорю тебе.
- Мишель опустил на клавиатуру инструмента, издавшего душераздирающий звук.
- Знаешь ли ты, что ты сейчас делаешь? – спросил пианист.
- Понятия не имею!
- Святая невинность, ты упражняешься в современной гармонии.
- Точно! – вставил Жак.
- Да, то, что ты извлек из фортепьяно, это попросту современный аккорд. И уж совсем страшно становится от того, что нынешние ученые берутся дать этому научное объяснение! Раньше лишь некоторым нотам было дозволено соединяться друг с другом; с тех пор их прими-



рили, и они больше не ссорятся между собой, они для того слишком хорошо воспитаны!

– Но результат не становится от этого менее неприятным, – заметил Жак.

– Что хочешь, друг мой, нас привела к этому сама логика вещей; в прошлом веке некто Рихард Вагнер, некий мессия, которого недораспяли, изобрел музыку будущего, и мы до сих пор терпим ее игу; в его время уже обходились без мелодии, он счел нужным выставить за дверь и гармонию, в результате горница оказалась пустой.

– Но, – заговорил Мишель, – это все равно как если бы писать картины без рисунка и без красок.

– Именно так, – ответил Кенсоннас. – Ты говоришь о живописи, но она не входит в число французских искусств. Она пришла к нам из Италии и Германии, и я не так переживал бы ее профанацию. В то время как музыка – дитя, выношенное в нашем чреве...

– А я считал, – откликнулся Жак, – что музыка родом из Италии.

– Ошибаешься, сын мой. До середины шестнадцатого века французская музыка господствовала в Европе. Гугенот Гудимель был учителем Палестрины,<sup>34</sup> а самые старые, самые наивные мелодии имеют галльское происхождение.

– До чего же мы докатились, – вздохнул Мишель.

– Да, сын мой, под предлогом использования новых методов партитуру строят теперь на одной-единственной ноте – долгой, тягучей, бесконечной. В Опере она начинается в восемь вечера и заканчивается без десяти минут двенадцать. Продлись она пятью минутами дольше, и дирекции пришлось бы платить штраф и удваивать вознаграждение охраны.

– И никто не протестует?

– Сын мой, музыку теперь не дегустируют, ее проглатывают! Горстка артистов попробовала бороться, твой отец был в их числе. Но после его смерти более не написали ни одной ноты, достойной так называться! Нам остается либо сносить тошнотворную «Мелодию девственного леса», пресную, путаную, нескончаемую, либо выслушивать гармонический грохот, столь трогательный пример которого ты только что выдал, усевшись на фортепьяно.

– Печально! – сказал Мишель.

– Ужасно, – отозвался Жак.

– Кстати, друзья мои, – продолжил Кенсоннас, – замечали ли вы, какие у нас большие уши?

– Нет, – ответил Жак.

– Так сравни их с античными или же средневековыми ушами, изучи картины и скульптуры – и ты устроишься: уши увеличиваются в той же мере, в какой рост человека уменьшается. Красивы же мы станем когда-нибудь! И что же, друзья мои, натуралисты раскрыли причину такого вырождения: виной тому музыка, мы живем в век зачерстевших барабанных перепонки и фальшивого слуха. Согласитесь, нельзя безнаказанно в течение века впрыскивать себе в уши Верди или Вагнера, не причиняя вреда нашему органу слуха.

– Этот проклятый Кенсоннас наводит ужас, – пожаловался Жак.

– Но послушай, – возразил Мишель, – ведь в Опере еще дают старые шедевры.

– Знаю, – ответил Кенсоннас. – Поговаривают даже о том, чтобы возобновить там «Орфея в аду» Оффенбаха с речитативами, введенными в его шедевр Шарлем Гуно, и не исключено, что это позволит заработать немного денег – благодаря балету! Чего требует просвещенная публика, друзья мои, так это танцев! Подумать только, соорудили монумент стоимостью в двадцать миллионов, и в первую очередь для того, чтобы там кувыркались какие-то попрыгуны; поневоле пожалеешь, что не родился от одного из этих созданий! «Гугеноты» сведены к одному акту и служат лишь вступлением к модным балетным номерам. Трико балерин сделали столь совершенно прозрачными, что их не отличишь от живой натуры, и это развлекает наших финансистов. Впрочем, Опера уже стала филиалом Биржи: там так же кричат, сделки обговаривают, не понижая голоса, а до музыки никому нет дела. Справедливости ради скажем, что исполнение оставляет желать лучшего.

– И даже очень, – отозвался Жак. – Певцы ржут, визжат, воют, режут, выпускают всякие

---

<sup>34</sup> Джованни Палестрина – итальянский композитор XVI века.

звуки, не имеющие ничего общего с пением. Настоящий зверинец!

– Что же до оркестра, – подхватил Кенсоннас, – то он пал ниже некуда с тех пор, как инструмент уже не может прокормить инструменталиста. Вот уж непрактичная профессия! Ах, если бы только было можно использовать растрачиваемую впустую силу, с которой нажимают на педали фортепьяно, для вычерпывания воды из угольных шахт! Если бы воздух, выдуваемый из офиклеидов,<sup>35</sup> приводил в движение мельницы Компании Катакомб! Если бы возвратно-поступательное движение кулисы тромбона применялось на механической лесопилке, ах, тогда инструменталисты были бы богатыми, а их ремесло популярным!

– Ты смеешься! – воскликнул Мишель.

– Черт меня побери, – со всей серьезностью ответил Кенсоннас, – меня не удивит, если какой-то хитроумный изобретатель придумает однажды что-нибудь подобное! Дух изобретательства так развит во Франции! Более того, это единственный вид интеллекта, которым мы еще обладаем. И уж поверьте мне, он не способен придать блеск нашим беседам. Да и кто же теперь думает о том, чтобы позабавить ближнего! Так давайте наводить друг на друга скуку, вот лозунг эпохи!

– И это никак нельзя поправить? – спросил Мишель.

– Никак, пока будут царить финансы и машины. При этом по мне – машина не в пример хуже.

– Почему?

– Потому что в финансах есть полезная сторона: деньгами, по крайней мере, оплачивают шедевры, а ведь есть нужно, даже если ты гений.

Генуэзцы, венецианцы, флорентийцы при Лоренцо Великолепном, банкиры и негоцианты поощряли искусства. Но одержимым механикой – что им до того, существовали ли вообще Рафаэли, Тицианы, Веронезе, Леонардо да Винчи. Появись они теперь, они не выдержали бы конкуренции машинного производства и умерли бы с голоду! О, машина! Как не возненавидеть изобретателей и изобретения!

– Ладно, – сказал Мишель, – но ты-то музыкант, Кенсоннас, ты сочиняешь, ты проводишь ночи за фортепьяно! Отказываешься ли ты исполнять современную музыку?

– Я? Еще чего не хватало! Исполняю, как и все. Вот, послушайте, я только что сочинил пьесу во вкусе дня и верю в ее успех, если только найду издателя.

– И она называется?

– Тилорьена, гранд-фантазия на тему «Сжижение Углекислоты».

– Не может быть! – вскричал Мишель.

– Слушай и суди, – сказал Кенсоннас.

Он сел за фортепьяно, вернее, набросился на него. Несчастный инструмент, истязаемый его пальцами, его кулаками, его локтями, испускал немыслимые звуки; ноты сталкивались и колотили, как град по крыше. Нет мелодии! Нет ритма! Сверхзадачей автора было изобразить последний опыт, стоивший жизни инженеру Тилорье.

– Ну, – кричал Кенсоннас, – вы слышите! Вы понимаете! Вы присутствуете при эксперименте великого химика! Ощущаете ли вы в полной мере обстановку его лаборатории? Слышите ли вы, как выделяется углекислота? Вот давление достигает четырехсот девяноста пяти атмосфер, цилиндр вздрагивает, осторожно! Аппарат сейчас взорвется! Спасайся, кто может!

И, нанеся По клавиатуре сокрушающий удар кулаком, Кенсоннас воспроизвел взрыв.

– Уф, – выдохнул он, – было ли это достаточно похоже, достаточно прекрасно?

Мишель лишился дара речи. Жак не мог удержаться от смеха.

– И ты делаешь ставку на это? – спросил Мишель.

– Делаю ли я ставку! – воскликнул Кенсоннас. – Это в духе времени, сейчас все – химии! Меня поймут. Но одной идеи мало, важно исполнение.

– Что ты хочешь этим сказать? – спросил Жак.

– Что именно исполнением я хочу удивить наш век!

---

<sup>35</sup> Духовой музыкальный инструмент.

– Но мне показалось, – заметил Мишель, – что ты играешь замечательно.

– Брось, – ответил артист, пожимая плечами. – Я и первой ноты еще не освоил, а ведь уже три года, как я работаю над этим.

– Что же ты хочешь сделать большего?

– Это мой секрет, дети мои, не спрашивайте, вы сочтете меня сумасшедшим и тем обескуражите. Но могу заверить вас, что талант Листов и Тальбергов, Прюденов и Шульгофов будет многократно превзойден.

– Ты что, хочешь сыграть за секунду в три раза больше нот, чем они? – осведомился Жак.

– Отнюдь! Но я намерен изобрести новую манеру исполнения на фортепьяно, которая восхитит публику. Каким образом? Не могу вам сейчас сказать. Достаточно единожды намекнуть, единожды проговориться, и у меня украдут идею. По моим следам бросится отвратительное племя имитаторов, а я хочу быть единственным. Но это требует нечеловеческих усилий. Когда я достигну совершенства, богатство будет мне обеспечено, и прощай бухгалтерия!

– Послушай, ты с ума сошел! – проговорил Жак.

– Ничуть! Я всего лишь безрассуден, что и требуется для успеха. Но погрузимся в более приятные эмоции и постараемся возродить хоть в небольшой мере то очаровательное прошлое, для которого мы были рождены. Друзья, вот истина в музыке!

Кенсоннас был великим артистом; он играл с глубочайшим чувством, он знал все, что предыдущие века оставили в наследство нынешнему, не желавшему что-либо унаследовать. Он начал от самого зарождения искусства, быстро переходил от одного мэтра к другому, а его в меру резкий, но в то же время приятный голос дополнял то, чего не хватало пианисту. Он развернул перед очарованными друзьями панораму многовековой истории музыки, переходя от Рамо к Люлли, далее к Моцарту, Бетховену, Веберу – основателям музыкального искусства; он вызывал слезы, передавая сладкое вдохновение Гретри, и торжествовал в блистательных пассажах Россини и Мейербера.

– Слушайте, – говорил он, – вот забытые арии Вильгельма Телля, Робера, Гугенотов; вот мелодии галантной эпохи Герольда и Обера, ученых, гордившихся, что ничего не знают! Но что делать науке в музыке? Доступна ли науке живопись? Нет, и живопись и музыка едины! Вот как понимали это великое искусство в первой половине XIX века: тогда не искали новых формул, в музыке невозможно найти что-либо новое, так же как и в любви. Очаровательная прерогатива чувственных искусств в том, что они остаются вечно молодыми!

– Хорошо сказано, – воскликнул Жак.

– Но потом, – продолжил пианист, – нашлись честолюбцы, возжелавшие проторить новые, неизведанные пути, и они увлекли с собой в пропасть всю музыку.

– Означает ли это, – спросил Мишель, – что после Россини и Мейербера ты уже не видишь ни одного музыканта?

– Ну как же! – ответил Кенсоннас, отважно перескакивая тем временем от обычного «ре» к «ми-бемоль». – Не говорю, конечно, о Берлиозе, главе школы импотентов, чьи музыкальные идеи вылились в завистливые фельетоны, но вот некоторые из наследников великих мэтров. Послушай Фелисьена Давида, профессионала, которого нынешние ученые путают с королем Давидом, первым арфистом Израиля. Оцени благоговейно простое и подлинное вдохновение Массе, последнего музыканта, сочинявшего чувством и сердцем, его «Индианка» – шедевр той эпохи. А вот Гуно, бесподобный автор «Фауста», умерший вскоре после того, как принял постриг в Вагнеровской церкви. Вот творец гармоничного шума, герой музыкального грохота, сочинявший грубо отесанные мелодии подобно тому, как тогда же сочиняли грубо отесанную литературу, – Верди, автор неисчерпаемого «Трубадура», занимающий выдающееся место в ряду тех, кто способствовал упадку вкуса в прошедшем веке.

– Наконец, явился Вагнерб...<sup>36</sup>

И тут Кенсоннас, не сдерживаемый более законами ритма, отдался невнятным грезам Созерцательной Музыки с ее внезапными паузами и нескончаемыми пассажами, среди которых

---

<sup>36</sup> См. примечания в конце книги.

можно было затеряться.

Артист с несравненным талантом представил последовательную поступь искусства; под его пальцами протекли двести лет музыки, и друзья слушали его в молчаливом восторге.

И вдруг, посреди вымученных пассажей вагнеровской школы, в момент, когда сбившаяся с пути мысль потерялась безвозвратно, когда звуки стали уступать место шумам, музыкальную ценность которых установить было затруднительно, под пальцами пианиста запело нечто простое, мелодичное, нежное по тону и совершенное по чувству. Буря сменилась покоем, рыки и вопли – нотами, идущими от сердца.

– Ах! – воскликнул Жак.

– Друзья мои, – сказал Кенсоннас, – существовал еще один великий и непризнанный артист, вобравший в себя весь гений музыки. То, что я сыграл, создано в 1947 году – последний вздох умирающего искусства.

– И это? – спросил Мишель.

– Это твой отец, он был моим обожаемым учителем.

– Мой отец! – вскричал юноша, едва не плача.

– Да, слушай.

И Кенсоннас, исполняя мелодии, под которыми подписались бы Бетховен или Вебер, вознеся к вершинам мастерства.

– Мой отец! – повторял Мишель.

– Да, – ответил Кенсоннас, захлопнув вскоре со злостью крышку фортепьяно. – После него – пустыня! Кто бы его теперь понял? Достаточно, дети мои, хватит прошлого! Обратимся к настоящему, и пусть вновь воцарится индустриализм!

С этими словами он нажал на что-то, клавиатура исчезла, и глазам гостей открылась застеленная кровать с туалетом, снабженным всеми необходимыми приспособлениями.

– Вот изобретение, достойное нашей эпохи, – сказал музыкант. – Фортепьяно-кровать-комод-туалет!

– И ночной столик, – добавил Жак.

– Так точно, мой дорогой друг. Полный набор!

## **Глава IX**

### **Посещение дядюшки Югенена**



С того памятного вечера троих молодых людей связала тесная дружба. Они образовали свой маленький мирок, островок обособленной жизни в этой гигантской столице.

Мишель проводил дни в служении Главной Книге; казалось, он свыкся со своей участью, но для счастья ему не хватало общения с дядюшкой Югеном. Будь он рядом, Мишель обрел бы целую семью: дядюшка за отца, а двое друзей – за старших братьев. Юноша часто писал старому библиотечарю, и тот прилежно отвечал.

Так протекли четыре месяца. Казалось, в конторе Мишелем были довольны, кузен презирал его чуть меньше, Кенсоннас не устал хвалить. Очевидно, юноша нашел свое призвание: он родился диктовальщиком.

Зима худо-бедно прошла, с ней успешно справлялись калориферы и газовые каминь.

Наступила весна. Однажды Мишелю предоставили выходной, в его распоряжении оказалось целое воскресенье; молодой человек решил посвятить его дядюшке Югеному.

В восемь утра Мишель с удовольствием покинул дом банкира, радуясь, что сможет вдохнуть глоток кислорода подальше от делового центра. Стояла прекрасная погода. Апрель принес с собой возрождение природы и готовился одарить людей свежими цветами, с ним не без успеха соперничали цветочные магазины. Мишель ощущал, как пробуждается в нем жизнь.

Дядюшка жил далеко; он, очевидно, был вынужден перенести свои пенаты туда, где приют стоил не так дорого.

Юный Дюфренуа направился к станции метрополитена на площади Мадлен, взял билет и, войдя в вагон, взобрался на второй этаж. Прозвучал сигнал к отправлению, поезд двинулся вверх по бульвару Мальзерб, вскоре оставив за собой справа тяжеловесную церковь Святого Августина, а слева – окруженный замечательными зданиями парк Монсо. Миновав пересечение с первой и второй кольцевыми линиями, поезд остановился у Аньерских ворот, поблизости от старых



фортификаций.

Первая часть путешествия благополучно закончилась. Мишель легко спрыгнул на перрон, прошел Аньерской улицей до улицы Восстания, там повернул направо, под виадук рейлвея, ведущего к Версалю, и, наконец, добрался до угла Булыжной улицы.

Перед ним был дом, скромный с виду, высокий и густонаселенный. Он спросил консьержа о г-не Югенене.

– Девятый этаж справа, – ответил сей важный персонаж: в ту эпоху консьержи были государственными служащими и назначались на эту доверительную должность непосредственно правительством.

Мишель поклонился, занял место в подъемнике и через несколько секунд оказался на площадке девятого этажа.

Юноша позвонил. Дверь открыл сам г-н Югенен.

– Дядюшка! – воскликнул Мишель.

– Дитя мое! – ответил старик, распахивая юноше объятия. – Наконец ты здесь!

– Да, дядюшка. Мой первый день свободы я посвящаю вам.

– Спасибо, мой дорогой мальчик, – ответил г-н Югенен, приглашая юношу войти. – Какое удовольствие видеть тебя! Но садись же, снимай шляпу, будь как дома. Ты ведь останешься со мной, не правда ли?

– На весь день, дядюшка, если только я вас не стесню.

– Что, стеснить меня? Я ведь ждал твоего прихода, мое дорогое дитя!

– Вы ждали меня? Но у меня не было времени предупредить вас, я бы опередил свое письмо!

– Мишель, я ждал тебя каждое воскресенье, и твой обеденный прибор был всегда наготове, как и сейчас.

– Неужели правда?

– Я знал, что в один прекрасный день, на этот или на следующий раз ты придешь навестить своего дядюшку. Правда, все как-то получалось на следующий...

– Я не мог освободиться, – поспешил объяснить Мишель.

– Я знаю, дорогое дитя мое, и не в обиду тебе, совсем нет!

– О, как же вы должны быть счастливы здесь, – произнес Мишель, оглядывая комнату полным восхищением взглядом.

– Ты имеешь в виду моих старых друзей, мои книги, – прекрасно, прекрасно! Но начнем с обеда; мы обсудим все это потом, хотя я поклялся, что не буду говорить с тобой о литературе.

– Но дядюшка, – умоляюще промолвил Мишель.

– Ладно, сейчас речь не об этом. Расскажи мне, чем ты занимаешься, кем стал в этом банковском доме? Может быть, твои идеи...

– Остаются прежними, дядюшка.

– Черт возьми! Давай тогда за стол. Но мне кажется, что ты еще меня не обнял!

– Как же, дядюшка, как же!

– Тогда начни сначала, племянник! Мне это не причинит вреда – ведь я еще не успел поест, – а может быть, и придаст мне аппетита.

Мишель от всего сердца обнял дядюшку, и они уселись за стол.

Юноша, однако, не переставал оглядываться, кругом было так много удивительного, это разжигало любопытство поэта.

Небольшой салон, что вкупе со спальней и составлял квартиру, находился во власти книг; стены исчезали за полками, старые переплеты ласкали взгляд тем благородным темным оттенком, который дается временем. Книгам было тесно, они вторгались в соседнюю комнату, устраивались над дверьми, на подоконниках; они выглядывали отовсюду: из камина, из приоткрытых ящичков комодов, располагались на мебели. Эти бесценные тома не походили на книги богатеев, отдыхающие в столь же роскошных, сколь и ненужных книжных шкафах; они явно чувствовали себя здесь хозяевами, свободно и вольготно, хотя и громоздились друг на друга. Впрочем, на них не виднелось ни пылинки, ни одного загнутого уголка, ни одного пятнышка на обложках; было

заметно, что ежеутренне заботливые руки совершают их туалет.

Обстановку салона составляли два старых кресла и стол эпохи ампира с золочеными сфинксами и римскими фасциями.

Окна глядели на юг, но высокие стены, окружавшие двор, загораживали солнце. Лишь однажды в году, 21 июня, в день солнцестояния, и если погода была ясной, самый верхний луч сияющего светила, едва коснувшись соседней крыши, поспешно проскальзывал через окно, опускался, как птица, на уголок книжной полки или на обрез книги, трепеща, задерживался там на мгновение, зажигая своим светом дорожку из крошечных атомов пыли; потом, минутой позже, возобновлял свой полет и исчезал – до будущего года.

Дядюшка Югенен узнавал этот луч, всегда тот же самый, подстерегал его появление с бьющимся сердцем, с настойчивостью астронома; он купался в его благотворном свете, сверял по нему свои старые часы и благодарил солнце, что не был им забыт.

Для старого библиотекаря это была его собственная пушка Пале Руаяль,<sup>37</sup> с тем только отличием, что выстреливала она лишь однажды в году, и то не каждый раз.

Дядюшка не преминул пригласить Мишеля на очередное торжественное свидание 21 июня, и юноша обещал не пропустить праздника.

Затем был обед, скромный, но такой радушный!

– Сегодня у меня большой день, – сказал дядюшка Югенен, – я принимаю гостей. Кстати, знаешь, в чьем обществе ты вечером будешь ужинать?

– Нет, дядюшка.

– Будет твой преподаватель Ришло с внучкой, мадемуазель Люси.

– Поверьте, дядюшка, мне доставит великое удовольствие повидать этого достойного господина.

– И мадемуазель Люси тоже?

– Я с ней не знаком.

– Так вот, племянничек, ты с ней познакомишься. Предупреждаю тебя, она очаровательна, о чем даже не подозревает! Так что не вздумай ей об этом сказать, – добавил, смеясь, г-н Югенен.

– Ни в коем случае, – согласился Мишель.

– После ужина, если не будет возражений, мы вчетвером совершим отличную прогулку.

– Замечательно, дядюшка! Это станет отличным завершением дня.

– Но что это, Мишель, ты больше не ешь и не пьешь?

– Как же, как же, дядюшка, – возразил Мишель, задыхавшийся от наплыва чувств, – за ваше здоровье!

– И за нашу следующую встречу, дитя мое; ведь когда мы с тобой расстанемся, мне кажется, что ты уезжаешь в долгое путешествие. Ну ладно, расскажи мне, как и чем ты живешь, пришел час откровений.

– Охотно, дядюшка.

Мишель в мельчайших подробностях поведал о своем существовании, о своих неприятностях, отчаянии, не забыв упомянуть о приключениях в каске-ловушке, и, наконец, о светлых днях на макушке Главной Книги.

– Именно там, – сказал юноша, – я обрел первого друга.

– А, так у тебя есть друзья, – отозвался дядя, нахмутив брови.

– У меня их двое, – ответил Мишель.

– Этого может оказаться слишком много, если они тебя подведут, – глубокомысленно заметил наш добрейший дядюшка, – и этого достаточно, если они тебя будут любить.

– О, дядюшка, – с горячностью воскликнул юноша, – они – артисты!

– Да, конечно, – дядя кивнул головой в знак согласия, – это служит гарантией, я понимаю,

---

<sup>37</sup> В 1786–1914 гг. с мая по октябрь выстрелом пушки из этого дворца отбивался полдень – в солнечные дни вертикальный луч находившегося в зените светила воспламенял заряд. Традиция была возобновлена в 1990 г., но запаливают уже с помощью спичек или зажигалки.

ведь в статистике постояльцев каторги и тюрем есть священники, адвокаты, дельцы, менялы, банкиры, нотариусы и ни одного артиста; и все же...

– Вы узнаете их, дядюшка, и увидите, какие это хорошие ребята!

– С удовольствием, – согласился г-н Югенен, – я люблю молодежь, но при условии, чтобы она была молодой! Преждевременные старцы всегда кажутся мне лицемерами.

– За этих двоих я ручаюсь!

– Что же, Мишель, судя по людям, с которыми ты общаешься, твои принципы не изменились?

– Скорее наоборот, – сказал юноша.

– Ты упорствуешь в грехе?

– Да, дядюшка.

– Тогда, несчастный, исповедуйся мне в твоих последних прегрешениях.

– Охотно, дядюшка!

И юноша вдохновенно декламировал превосходные стихи, глубокие, безупречные по форме, полные подлинной поэзии.

– Браво, – восклицал охваченный энтузиазмом дядя Югенен, – браво, дитя мое, так, значит, такие вещи еще создаются! Ты говоришь на языке прекрасного прошлого. О, сын мой, какую радость и одновременно какую боль ты мне причиняешь!

Старик и юноша умолкли.

– Хватит, хватит, – сказал дядюшка. – Уберем этот стол, он нам мешает.

Мишель помог дяде, и столовая в мгновение ока снова стала библиотекой.

– Ну же, дядюшка? – начал Мишель.

## **Глава X**

**Воскресенье, 15 апреля 1961 года, дядюшка Югенен принимает большой парад французских писателей**



– А теперь – за десерт, – подхватил дядя, указывая на заполненные книгами полки.

– Ко мне возвращается аппетит, – отозвался Мишель, – набросимся теперь на пищу иного рода.

Дядя и племянник с одинаково молодым задором принялись перелистывать книги, переходя от одной полки к другой, но г-н Югенен быстро положил конец этому беспорядочному рысканию.

– Иди сюда, – сказал он Мишелю, – начнем сначала; сегодня чтение не входит в программу, мы будем обозревать и беседовать. Это будет скорее парад, нежели сражение; представь себе Наполеона во дворе Тюильри, а не на поле Аустерлица. Заложь руки за спину, мы пройдем вдоль рядов.

– Я следую за вами, дядюшка.

– Сын мой, приготовься к тому, что перед тобой продефилирует самая прекрасная армия в мире: ни одна другая страна не смогла бы выставить подобную ей – армию, которая одержала бы столько блестящих побед над варварством.

– Великая армия<sup>38</sup> Словесности.

– Взгляни на первую полку, вот стоят одетые в латы красивых переплетов наши старые ворчуны<sup>39</sup> XVI века: Амьо, Ронсар, Рабле, Монтень, Матюрен Репье. Они верно несут стражу, и по сию пору их изначальное влияние присутствует в нашем прекрасном французском языке, чьи

---

<sup>38</sup> Так назвал Наполеон армию, с которой пошел завоевывать Европу в 1805 г. и далее Россию в 1812 г.

<sup>39</sup> Так называли солдат наполеоновской гвардии.

основы заложили именно они. Но, надо признать, они сражались больше за идею, чем за форму. А вот рядом с ними генерал, отличавшийся прекрасным, неподражаемым мужеством; но, главное, он усовершенствовал бывшее тогда в ходу оружие.

– Малерб, – вставил Мишель.

– Он самый. Как он когда-то признался, его учителями были грузчики Сенного порта; он ходил туда собирать их метафоры, их типично галльские словечки; он их отчистил, отполировал и сотворил из них тот замечательный язык, которым говорили в семнадцатом, восемнадцатом и девятнадцатом веках.

– Ага, – воскликнул Мишель, указывая на одинокий том, выделявшийся своим суровым и гордым видом, – вот великий полководец!

– Да, дитя мое, подобный Александру, Цезарю или Наполеону; последний сделал бы его принцем, этого старого Корнеля, вояку, породившего массу себе подобных: его академические издания бессчетны, ты видишь пятьдесят первое и последнее издание полного собрания его сочинений, оно относится к 1873 году, и с тех пор Корнеля не переиздавали.

– Наверное, дядюшка, трудно было добыть все эти книги!

– Напротив, все избавляются от них! Посмотри, вот сорок девятое издание полного собрания сочинений Расина, сто пятидесятое – Мольера, сороковое – Паскаля, двести третье – Лафонтена, все – последние, всем более ста лет, и все они – лишь улада библиофилов! Эти великие гении сделали свое дело, и теперь им место на полке археологических древностей.

– Ив самом деле, – заметил Мишель, – они говорят на языке, который сегодня был бы непонятен.

– Ты прав, дитя мое! Прекрасный французский язык утрачен. Язык, избранный для выражения мыслей знаменитыми иностранцами – Лейбницем, Фридрихом Великим, Анциллоном, Гумбольдтом, Гейне, этот изумительный язык, заставивший Гёте сожалеть, что не писал на нем, это элегантное наречие, что в пятнадцатом веке чуть не было подменено латынью или греческим, а также итальянским при правлении Екатерины Медичи и гасконским при Генрихе IV, – сейчас превратился в отвратительный жаргон. Всяк выдумывал свое слово для обозначения того, чем занимался, забывая, что лучше иметь язык удобный, нежели богатый. Специалисты по ботанике, естественной истории, физике, химии, математике соорудили чудовищные словосочетания, изобретатели почерпнули свои неблагозвучные термины из английского, барышники для своих лошадей, жокеи для своих бегов, продавцы экипажей для своих машин, философы для своей философии – все нашли, что французский язык слишком беден и ухватились за иностранные! Ладно, тем лучше, пусть они забудут его! Французский еще прекраснее в бедности, он не захотел стать богатым, prostituteуя себя! Наш с тобой язык, дитя мое, язык Малерба, Мольера, Боссюэ, Вольтера, Нодье, Виктора Гюго – это хорошо воспитанная девица, ты можешь любить ее без опасений, ибо варварам двадцатого века не удалось сделать из нее куртизанку!

– Хорошо сказано, дядюшка, и я понимаю теперь очаровательную манию моего профессора Ришло, который из презрения к нынешнему варварскому диалекту говорит только на офранцуженном латинском! Над ним смеются, а он прав. Но, объясните мне, разве французский не стал языком дипломатии?

– Да, в наказание ему, на Нимвегенском конгрессе в 1678 году. За присущие ему открытость и ясность французский был избран языком дипломатии, науки двучливости, двусмысленности и лжи, а в результате наш язык мало-помалу деформировался и в конечном итоге погиб. Увидишь, в один прекрасный день будут вынуждены подыскать ему замену.

– Бедный французский! – воскликнул Мишель. – Я вижу здесь Боссюэ, Фенелона, Сен-Симона, они бы его вовсе не узнали!

– Да, их дитя плохо кончило! Вот что значит знаться с учеными, промышленниками, дипломатами и им подобными, оказываясь в сомнительной компании. Поневоле растрачиваешь себя, развращаешься. Словарь выпуска 1960 года, содержащий все термины, что ныне в ходу, вдвое толще, чем словарь 1800 года. Можешь догадываться, с чем там столкнешься! Но продолжим наш обход, не следует заставлять солдат слишком долго стоять под ружьем.

– Вот там целая шеренга великолепных томов.



– Великолепных, а иногда и хороших, – отвечал дядя Югенен. – Это четыреста двадцать восьмое издание избранных сочинений Вольтера: универсальный ум, бывший вторым в любой области человеческого знания, как говорил о нем г-н Жозеф Прюдом. К 1978 году, предсказал Стендаль, Вольтер превратится во второго Вуатюра, и полуидиоты сделают из него своего божка. К счастью, Стендаль возлагал слишком большие надежды на будущие поколения: полуидиоты? Да сейчас не осталось никого, кроме полных идиотов, и Вольтера обожествляют не более, чем кого-либо другого. Оставаясь в рамках нашей метафоры, я бы сказал, что Вольтер был всего лишь кабинетным генералом, он давал сражения, не покидая своей комнаты и особо не рискуя. Его ирония, в общем-то, не такое уж опасное оружие, она иногда была мимо цели, и люди, убитые им, жили дольше, чем он сам.

– Но, дядюшка, разве он не был великим писателем?

– Вне всякого сомнения, племянник, он олицетворял французский язык, орудовал им с той же элегантностью и сноровкой, что выказывали когда-то в манеже подручные полкового учителя фехтования, проводя упражнения со стенкой; потом на поле боя обязательно находился неловкий рекрут, который в первой же схватке, делая выпад, убивал мэтра. Одним словом, как оно ни удивительно для человека, так хорошо писавшего по-французски, Вольтер на самом деле не был храбрецом.

– Согласен, – заметил Мишель.

– Пойдем дальше, – продолжил дядя, направляясь к новой шеренге солдат мрачной и суровой наружности.

– Здесь авторы конца восемнадцатого века? – спросил юноша.

– Да. Жан-Жак Руссо, сказавший самые прекрасные слова о Евангелии, точно так же, как Робеспьер сформулировал самые замечательные соображения о бессмертии души. Настоящий генерал Республики, в сабо, без эполет и вышитых шюртуков! И тем не менее одержавший немало громких побед. Посмотри, рядом с ним – Бомарше, стрелок авангарда. Он весьма кстати развязал эту великую битву 89 года, в которой цивилизация взяла верх над варварством. К сожалению, с тех пор плодами победы несколько злоупотребили, и этот чертов прогресс привел нас туда, где мы и оказались сейчас.

– Возможно, когда-нибудь прогресс будет сметен революцией, – предположил Мишель.

– Возможно, – ответил дядюшка Югенен, – и по крайней мере это будет забавно. Но не станем предаваться философским разглагольствованиям, продолжим обход строя. Вот тщеславный полководец, потративший сорок лет жизни на доказательства своей скромности, – Шатобриан, чьи «Воспоминания с того света» не смогли спасти его от забвения.

– Я вижу рядом с ним Бернардена де Сен-Пьера, – продолжил юноша, – его милый роман «Поль и Виржиния» сегодня никого не тронул бы.

– Увы, – подхватил дядя, – сегодня Поль был бы банкиром и выжимал бы соки из своих служащих, а Виржиния вышла бы замуж за фабриканта рессор для локомотивов. Смотри-ка, вот мемуары месье де Талейрана, опубликованные, согласно его завещанию, через тридцать лет после его смерти. Уверен, этот тип и там, где сейчас находится, по-прежнему занимается дипломатией, но дьявола ему провести не удастся. А вот там я вижу офицера, одинаково изящно орудовавшего саблей и пером: то был великий эллинист, писавший по-французски, как современник Тацита, – Поль-Луи Курье. Когда наш язык будет утерян, его восстановят целиком и полностью по сочинениям этого превосходного писателя. Вот Нодье, прозванный любезным, и Беранже, крупный государственный деятель, на досуге сочинявший песенки. И, наконец, мы приближаемся к тому блестящему поколению, что вырвалось на волю в эпоху Реставрации, как студенты из ворот семинарии, и наделало шуму на улицах.

– Ламартин, – произнес юноша, – великий поэт!

– Один из военачальников Литературы образа, подобный статуе Мемнона, которая так гармонично звучала, когда на нее падали лучи солнца! Несчастный Ламартин, растратив свое состояние на самые благородные дела, познав бедность на улицах неблагодарного города, вынужден был расточать свой талант на кредиторов; он освободил Сен-Пуен от разъедающей язвы ипотеки и умер в горести, оттого что на его глазах землю предков, в которой покоятся его родные, экс-

проприировала компания железных дорог!

– Бедный поэт, – вздохнул Мишель.

– Рядом с его лирой, – продолжил г-н Югенен, – ты видишь гитару Альфреда де Мюссе; на ней больше не играют, и только старый любитель, вроде меня, еще способен откликнуться на звук ее спустивших струн. Здесь – весь оркестр нашей армии.

– А вот и Виктор Гюго, – вскричал Мишель, – надеюсь, дядюшка, что его вы причисляете к великим полководцам!

– Я вижу его в первой шеренге, сын мой, размахивающим знаменем романтизма на Аркольском мосту,<sup>40</sup> победителем битв при Эрнани, Рюи Блазе, Бюргравах, Марион.<sup>41</sup> Как и Бонапарт, он стал главнокомандующим уже в двадцать пять лет и побивал австрийских классиков в каждом единоборстве. Никогда еще, дитя мое, человеческая мысль не сплавлялась так плотно, как в мозгу этого человека – тигле, способном выдержать самые высокие температуры. Не знаю никого, ни в античности, ни в современности, кто бы превзошел его неистовостью и богатством воображения. Виктор Гюго – самое совершенное воплощение первой половины XIX века, глава Школы, равной которой не будет никогда. Его полное собрание сочинений имело семьдесят пять изданий, вот последнее. Как и другие, он забыт, сын мой, – надо истребить множество людей, чтобы о тебе помнили!

– Но, дядя, – сказал Мишель, поднимаясь на лесенку, – у вас двадцать томов Бальзака!

– Да, конечно, Бальзак – первый романист мира, многие из созданных им типов превзошли даже мольеровских! В наше время ему не достало бы мужества написать «Человеческую комедию».

– Тем не менее, – возразил Мишель, – нравы, описанные им, весьма отвратительны, а как много среди его героев персонажей настолько жизненных, что им вполне нашлось бы место среди нас.

– Разумеется, – поддержал юношу дядя. – Но откуда теперь брал бы он своих де Марсе, Гранвиллей, Шенелей, Мируэ, Дю Геников, Монтриво, кавалеров де Валуа, ля Шантри, Мофриньезов, Эжени Гранде, Пьерет, все эти очаровательные образы, олицетворяющие благородство, ум, храбрость, милосердие, чистосердечие – он их не изобретал, он их копировал. Зато он не испытывал бы недостатка в моделях, живописуя людей алчных, финансистов, защищаемых законом, амнистированных жуликов, ему было бы с кого писать Кревелей, Нюсинженев, Вотренов, Корентенов, Юло и Гобсеков.

– Мне сдается, – заметил Мишель, переходя к другим полкам, – что перед нами – примечательный автор!

– Еще бы! Александр Дюма, Мюрат словесности, смерть настигла его на тысяча девятьсот девяносто третьем томе. Он был самым увлекательным рассказчиком, щедрая к нему природа позволила ему без ущерба для себя растрачивать свой талант, ум, красноречие, пыл, задор, свою физическую силу, когда он захватил пороховую башню в Суассоне, злоупотреблять своим рождением и гражданством, без пощады попирает Францию, Испанию, Италию, берега Рейна, Швейцарию, Алжир, Кавказ, гору Синай, Неаполь, этот город особенно, когда он вторгся туда на своем Сперонаре. Какая удивительная личность! Считается, что он достиг бы рубежа четырехтысячного тома, если бы не отравился в расцвете лет блюдом, которое сам изобрел.<sup>42</sup>

– Как обидно, – воскликнул Мишель, – надеюсь, других жертв в этом ужасном происшествии не было?

– К сожалению, были, и среди прочих Жюль Жанен, известный в то время критик, сочинявший латинские стихи на полях газет. Произошло это на ужине, который Александр Дюма да-

---

<sup>40</sup> В битве с австрийцами при Арколе в 1796 г. Наполеон лично со знаменем в руках возглавил атаку на мост.

<sup>41</sup> Пьесы Вольтера.

<sup>42</sup> А. Дюма-старший являлся и автором книги кулинарных рецептов. Эпизод с отравлением придуман Жюлем Верном. В момент написания романа А. Дюма и прочие упомянутые в этой связи люди были благополучно живы и умерли по прошествии многих лет естественной смертью.

вал Жанену в знак примирения. Вместе с ними погиб еще один писатель, моложе их, по имени Монселе, оставивший нам шедевр, к несчастью незаконченный, – «Словарь гурманов», сорок пять томов, а дошел он только до буквы «Ф» – фарш.<sup>43</sup>

– Черт побери, – отозвался Мишель, – а ведь какое многообещающее начало!

– А теперь на очереди Фредерик Сулье, отважный солдат, всегда готовый прийти на помощь и способный взять самую неприступную крепость, Гозлан – гусарский капитан, Мериме – генерал от прихожей, Сент-Бев<sup>44</sup> – помощник военного интенданта, директор склада, Араго – ученый офицер саперных войск, сумевший сделать так, что ему простили его ученость. Взгляни, Мишель, далее идут произведения Жорж Санд – восхитительный талант, из числа самых великих писателей Франции, получившая, наконец, в 1895 г. давно заслуженную награду и отдавшая врученный ей крест своему сыну.

– А это что за насупившиеся книги? – спросил Мишель, указывая на длинный ряд томов, укрывшихся под карнизом.

– Не задерживайся, дитя мое, это шеренга философов – Кузен, Пьеров Леру, Дюмуленов и многих других; а поскольку философия – дело моды, неудивительно, что сейчас их никто не читает.

– А это кто?

– Ренан, археолог, наделавший шуму; он попытался сокрушить божественную природу Христа и умер, пораженный молнией, в 1873 г.<sup>45</sup>

– А этот? – продолжал расспрашивать Мишель.

– А этот – журналист, публицист, экономист, вездесущий генерал от артиллерии, скорее шумный, нежели блестящий, по имени Жирарден.

– Не был ли он атеистом?

– Отнюдь, он веровал – в себя. О, а вот, чуть поодаль, полный дерзости персонаж, человек, который, будь в том нужда, изобрел бы французский язык и был бы сегодня классиком, если бы языку еще обучались, – Луи Вейо, самый непоколебимый приверженец Римской церкви, к своему великому изумлению умерший отлученным.<sup>46</sup> А вот Гизо, суровый историк, в минуты досуга он развлекался тем, что строил козни против Орлеанской династии. А здесь, видишь, – гигантская компиляция: единственно «верная и самая подлинная история Революции и Империи» – она была опубликована в 1895 году по указанию правительства, чтобы положить конец различным толкованиям, бывшим в ходу относительно обозначенного здесь отрезка нашей истории. При составлении этого труда широко использовались хроники Тьера.

– Ага, – воскликнул Мишель, – вот славные ребята, они выглядят молодо и задорно.

– Ты прав, здесь вся легкая кавалерия 1860-х, блестящая, бесстрашная, шумная, ее бойцы перемахивают через предрассудки, как через препятствия на скачках, отбрасывают условности, как ненужные помехи, падают, снова поднимаются и бегут еще быстрее, ломая головы, что отнюдь не сказывается на их самочувствии! Вот шедевр той эпохи – «Мадам Бовари», вот «Глупость человеческая» некоего Норьяка – безбрежная тема, которую он не смог исследовать до конца. Вот все эти Ассолланы, Оревиллы, Бодлеры, Парадоли, Шолли, молодчики, на которых волей-неволей приходилось обращать внимание, так как они палили вам по ногам...

– Но лишь холостым пороховым зарядом, – заметил Мишель.

– Пороховым зарядом с солью, и уж как от него щипало! Посмотри, вот еще один парень, не обделенный талантом, настоящий сын полка.

– Абу?

– Да, он хвалился, вернее, его хвалили за то, что он возрождает Вольтера, и со временем он

---

<sup>43</sup> Во французском алфавите буква «F» – шестая от начала.

<sup>44</sup> Сент-Бев – французский писатель, критик и историк литературы.

<sup>45</sup> Из той же области фантазии – писатель умер своей смертью в 1892 г.

<sup>46</sup> Тоже из области фантазии.

дорос бы тому до щиколотки; к несчастью, в 1869 году, когда Абу почти добился принятия в Академию, он был убит на дуэли свирепым критиком, знаменитым Сарсэ.<sup>47</sup>

– Не будь этой беды, он, возможно, пошел бы далеко? – осведомился Мишель.

– Ему все было бы мало, – ответил дядя. – Ты познакомился, мой мальчик, с главными военачальниками нашего литературного войска. Там, на задних полках, ты увидишь последние шеренги скромных солдат, чьи имена удивляют читателей старых каталогов. Продолжай осмотр, позабавь себя: там покоятся пять или шесть веков, которые были бы рады, если бы их перелистали.

Так прошел день. Мишель пренебрегал незнакомцами, возвращаясь к именам, покрытым славой, натываясь на любопытные контрасты: за Готье, чей искрометный стиль несколько устарел, шел Фейдо, последователь таких скабресных авторов, как Луве или Лякло, а за Шанфлери следовал Жан Массе, самый искусный популяризатор науки. Взгляд юноши скользил от Мери, фабриковавшего шуточки по заказу, как сапожник туфли, к Банвилю, кого дядюшка Югенен без обиняков характеризовал как жонглера словами. Мишелю попадался то Сталь, так тщательно изданный фирмой Этцеля, то Карр, моралист острого ума и твердого духа, не позволявший никому себя обворовывать. Повстречался Уссэ – отслуживши однажды в салоне г-жи Рамбуйе,<sup>48</sup> он вынес оттуда нелепый стиль и жеманные манеры; наконец, Сен-Виктор, за сто лет не потерявший яркости.

Затем Мишель вернулся туда, откуда они начали; он брал то один, то другой бесценный том, открывал, прочитывал в одном фразу, в другом – страницу, в третьем – лишь названия глав, а в ином – только само заглавие. Он впитывал литературный аромат, ударявший ему в голову пьянящим духом ушедших веков, пожимал руки всем этим друзьям из прошлого, которых бы знал и любил, догадайся он родиться раньше! Г-н Югенен не мешал ему и сам молодел, любуясь юношей.

– Ну что, о чем ты задумался? – спрашивал дядя, видя, что племянник погрузился в размышления.

– Я думаю, что в этой маленькой комнате достаточно сокровищ, чтобы сделать человека счастливым до конца жизни!

– Если он умеет читать...

– Я это и имел в виду.

– Да, но при одном условии.

– При каком?

– Чтобы он не умел писать!

– Почему же, дядюшка?

– Потому, мой мальчик, что тогда он мог бы возжелать пойти по стопам этих великих писателей.

– И что в том плохого? – пылко откликнулся юноша.

– Он пропал бы.

– Ах, дядюшка, так вы собираетесь прочесть мне мораль?

– Нет, если кто здесь и заслуживает нравоучения, так это я.

– Вы, за что?

– За то, что навел тебя на безумные мысли. Я приоткрыл перед тобой Землю обетованную, бедное дитя мое, и...

– И вы позволите мне вступить в нее, дядюшка?

– Да, если ты мне поклянешься в одном.

– Именно?

– Что будешь там только прогуливаться! Я не хотел бы, чтобы ты принялся распахивать

---

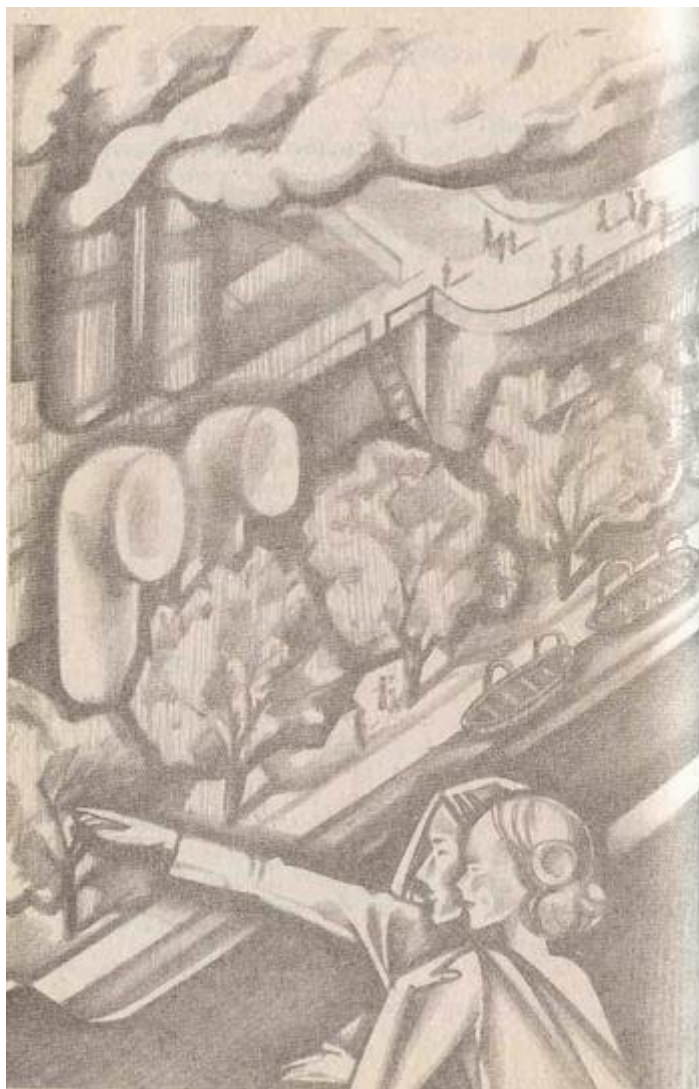
<sup>47</sup> Все тот же прием – Абу прожил еще долго, стал академиком и не дрался на дуэли.

<sup>48</sup> Литературный салон маркизы де Рамбуйе середины XVII века, сыграл большую роль в создании французского литературного языка.

эту неблагодарную почву, – не забывай, кто ты есть, чего ты должен добиться, кем являюсь я и в какое время мы оба живем.

Мишель без слов крепко сжал руку дяди; тот наверняка начал бы выкладывать весь набор самых веских аргументов, если бы у двери не позвонили. Г-н Югенен пошел отворить.

## Глава XI Прогулка в Гренельский порт



То был г-н Ришло собственной персоной. Мишель бросился на шею своего старого учителя; еще немного и юноша оказался бы в объятиях, которые мадемуазель Люси раскрыла для дядюшки Югенена, но тот, к счастью, успел занять предназначенную для него позицию, чем и предотвратил сие милое происшествие.

– Мишель! – воскликнул г-н Ришло.

– Он самый, – ответил г-н Югенен.

– О, – продолжил преподаватель, – какой юкондный сюрприз, и какой летантерементный вечер нас ожидает.<sup>49</sup>

– *Dies abbo notanda lapillo*<sup>50</sup> – отозвался г-н Югенен.

---

<sup>49</sup> Г-н Ришло говорит на смеси французского с галлицизированной латынью. «Юкондный» от лат. «jucundus» – веселый, приятный; «летантерементный» от лат. «laetus» – радостный, счастливый.

<sup>50</sup> День, заслуживающий быть отмеченным белым камнем (лат.).



– Как говаривал наш дорогой Флакк,<sup>51</sup> – подтвердил г-н Ришло.  
– Мадемуазель, – робко выговорил юноша, кланяясь девушке.  
– Месье, – Люси вернула приветствие, сопроводив его не лишенным грации реверансом.  
– Candore notabilis abbo,<sup>52</sup> – прошептал Мишель к великой радости своего учителя, простившего юноше комплимент за то, что он произнес его на иностранном языке.

Впрочем, молодой человек был на сто процентов прав: этим чудесным полустышем Овидия он сумел передать все очарование девушки. Замечательная своей белоснежной чистотой! В свои пятнадцать лет мадемуазель Люси была восхитительна, сама свежесть, как едва раскрывшийся бутон, являющий взору образ нового, чистого, хрупкого. Ее длинные светлые локоны свободно, по моде дня падали на плечи; ее глаза бездонной голубизны, полный наивности взгляд, кокетливый носик с маленькими прозрачными ноздрями, слегка увлажненный росой рот, чуть небрежная фация шеи, нежные, гибкие руки, элегантные линии талии – все это очаровывало юношу, от восторга он потерял дар речи. Девушка была живой поэзией, он воспринимал ее больше чувствами, ощущениями, нежели зрением, она скорее запечатлелась в его сердце, чем в глазах.

Охвативший юношу экстаз грозил длиться до бесконечности. Поняв это, дядюшка занялся гостями, чем хоть немного оградил девушку от излучения, исходившего от поэта, и разговор возобновился.

– Друзья мои, – сказал г-н Югенен, – ужин не заставит себя ждать. А пока побеседуем. Так что, Ришло, вот уже добрый месяц, как мы не виделись. Как поживают гуманитарные науки?

– Они отживают, – ответил старый преподаватель. – В моем классе риторики осталось лишь три ученика. Турпное<sup>53</sup> падение! Нас прогонят, и правильно сделают.

– Прогнать! Вас! – вскричал Мишель.

– Неужели вопрос действительно ставится так? – усомнился г-н Югенен.

– Вполне серьезно, – ответил г-н Ришло. – Ходит слух, что решением генерального собрания акционеров с 1962 учебного года кафедры словесности будут ликвидированы.

– Что станет с ними! – подумал Мишель, глядя на девушку.

– Не могу такому поверить, – возразил дядя, нахмутив брови, – они не посмеют!

– Они посмеют, – ответил г-н Ришло, – и это к лучшему! Кого еще интересуют эти греки и латиняне, они годны лишь на то, чтобы поставлять корни для терминов современной науки. Учащиеся более не понимают их замечательные языки, и, когда я гляжу на сих молодых тупиц, отчаяние смешивается во мне с отвращением.

– Мыслимо ли это, – воскликнул молодой Дюфренуа. – Ваш класс насчитывает лишь три ученика!

– На три больше, чем нужно, – в сердцах отозвался старый преподаватель.

– И в довершение всего, – заметил г-н Югенен, – они – бездельники.

– И какие еще бездельники! – подхватил г-н Ришло. – Поверите ли, недавно один перевел мне *jus divinum* как *jus divin*.<sup>54</sup>

– Божий сок! – вскричал дядюшка, – да это будущий пьяница!

– А вчера, всего лишь вчера! *Horresco referens*,<sup>55</sup> угадайте, если хватит духа, как еще один перевел стих из четвертой книги «Георгик»: *«immanis pecoris custos»*...<sup>57</sup>

---

<sup>51</sup> Валерий Флакк, древнеримский поэт.

<sup>52</sup> Замечательная сиянием своей белизны (*лат.*).

<sup>53</sup> «Турпное» от лат. «turpis» – позорный, постыдный.

<sup>54</sup> «Божественное право» (*лат.*) как «божий сок» (*франц.*).

<sup>55</sup> Дрожь охватывает при одной мысли об этом (*лат.*).

<sup>56</sup> Поэма Вергилия.

<sup>57</sup> «Хранитель огромного стада» (*лат.*).

– Мне кажется... – промолвил Мишель.

– Я краснею до ушей, – продолжал г-н Ришло.

– Ладно же, – сказал дядюшка Югенен, – поведайте, как перевели этот стих в году от Рождества Христова 1961?

– «Хранитель ужасающей дуры»,<sup>58</sup> – промолвил старый преподаватель, закрыв лицо руками.

Г-н Югенен не смог удержаться и расхохотался от всей души, Люси отвернулась, пряча улыбку, Мишель смотрел на нее взглядом, полным грусти, а г-н Ришло не знал, куда деваться от стыда.

– О, Вергилий, – вскричал дядюшка Югенен, – мог ли ты когда-нибудь подумать о таком!

– Убедились, друзья мои? – продолжил преподаватель. Лучше не переводить вовсе, чем переводить так. Да еще в классе риторики! Пусть с нами кончают, будет только лучше!

– Что же вы тогда будете делать? – спросил Мишель.

– А это, дитя мое, другой вопрос, но не сейчас же искать решение, мы собрались здесь, чтобы приятно провести время...

– Тогда за стол! – предложил дядя. Пока накрывали к ужину, Мишель завязал с мадемуазель Люси очаровательную беседу о том и о сем, полную милых глупостей, за которыми можно было иногда различить и подлинную мысль. В шестнадцать лет мадемуазель Люси имела все основания быть намного взрослее, чем Мишель в свои девятнадцать, но она не стремилась показывать это, хотя тревога за будущее омрачала ее чистое личико. Она выглядела озабоченной, с беспокойством поглядывала на дедушку, в котором заключалась вся ее жизнь. Мишель поймал один такой взгляд.

– Вы очень любите месье Ришло, – заметил он.

– Очень, месье, – ответила Люси.

– Я тоже, мадемуазель, – добавил юноша. Люси слегка покраснела, обнаружив, что у нее с Мишелем общий предмет привязанности. Оказалось, что ее самые сокровенные чувства разделял некто посторонний. Мишель ощутил это и не решался более взглянуть на нее. Тут г-н Югенен прервал их тет-а-тет, громогласно провозгласив: «к столу»! Соседний поставщик готовых блюд приготовил отличный ужин, специально заказанный для данного случая. Все принялись за пиршество.

Первый приступ аппетита был утолен жирным супом и превосходным рагу из конины – мяса, столь популярного до восемнадцатого века и вновь вошедшего в моду в двадцатом. Затем последовала солидная баранья нога, выдержанная в сахарном сиропе, смешанном с селитрой, по новому способу, который позволял сохранить мясо, одновременно повышая его вкусовые качества. Кое-какие овощи, происхождением из Эквадора и акклиматизированные во Франции, а также добродушие и оживленность дядюшки Югенена, прелесть Люси, обслуживавшей всех за столом, сентиментальный настрой Мишеля – все придавало очарование этому поистине семейному ужину. Никому не хотелось, чтобы он кончился, хотя легкость беседы уже стала страдать от полноты желудков, – и все-таки он кончился, и всем показалось, что слишком быстро. Они поднялись из-за стола.

– А теперь, – сказал г-н Югенен, – надо достойно завершить этот прекрасный день.

– Пойдемте прогуляться! – воскликнул Мишель.

– Конечно, – отозвалась Люси.

– А куда? – спросил дядя.

– В Гренельский порт, – попросил юноша.

– Превосходно. «Левиафан IV» только что пришвартовался, и мы сможем полюбоваться этим чудом.

Наша небольшая компания спустилась на улицу, Мишель предложил руку девушке, и они направились к кольцевой линии метрополитена.

---

<sup>58</sup> Здесь игра слов: французское «ресог» означает «животное», «овца» и «дура», «деревенщина».

Знаменитый проект – превратить Париж в морской порт – наконец стал реальностью. Долгое время в это не могли поверить, многие из тех, кто приходил поглазеть на строительство канала, в открытую издевались над самим замыслом, заранее предрекая, что он окажется бесполезным. Но теперь исполнилось уже десять лет с тех пор, как сомневающиеся были вынуждены признать свершавшийся факт.

Столице уже грозило превратиться в нечто вроде Ливерпуля, только в центре Франции, – тянувшиеся нескончаемой чередой морские доки, вырытые на обширных равнинах Гренели и Исси, могли принять тысячу крупнотоннажных судов. В этих геркулесовых трудах инженерное искусство, казалось, достигло последних пределов возможного.

Идея прорыть канал от Парижа к морю часто возникала в прошедшие века, при Людовике XIV и Луи-Филиппе. В 1863 г. одной компании было разрешено за свой счет провести изучение трассы по линии Крей – Бовэ – Дьепп. Но на трассе встречалось много подъемов, они потребовали бы многочисленных шлюзов, а для их наполнения были нужны полноводные реки. Единственные же протекавшие поблизости – Уазу и Бетюну – вскоре сочли недостаточными для такой задачи, и компания прекратила работы.

Шестьюдесятью пятью годами позже реализовать идею взялось государство, при этом использовали схему, уже предлагавшуюся в прошлом веке и тогда отклоненную по причине своей простоты и логичности: речь шла о том, чтобы использовать Сену, естественную артерию, связывающую Париж с океаном.

Менее чем за пятнадцать лет под руководством гражданского инженера Монтане прорыли канал, бравший начало на равнине Гренель и заканчивавшийся чуть пониже Руана. Его длина была 140 километров, ширина – 70 метров и глубина – 20; получалось русло вместимостью примерно в 190 000 000 куб. метров. Не возникало ни малейшей опасности, что канал обмелеет, ибо пятидесяти тысяч литров воды, переносимых Сеной каждую секунду, с лихвой для него хватало. Работы, осуществленные в нижнем русле реки, сделали фарватер проходимым для самых больших судов. Так что от Гавра до самого Парижа навигации ничто не мешало.

К тому времени во Франции был осуществлен проект инженера Дюпейра: вдоль всех каналов, по трассам бывших волоков проложили железнодорожные колеи, и по ним мощные локомотивы без труда буксировали баржи и грузовые суда.

Ту же систему использовали с большим размахом на Руанском канале, и понятно, с какой скоростью торговые суда и корабли государственного военно-морского флота поднимались до самого Парижа.

Новый порт был замечательным сооружением. Вскоре г-н Югенен и его гости уже прогуливались по гранитным набережным среди многочисленной публики.

Всего там насчитывалось восемнадцать морских доков, из них лишь два отводились под стоянку военно-морского флота, чьей задачей было защищать французские рыбные промыслы и колонии. Там еще оставались старые бронированные фрегаты девятнадцатого века, которые вызвали восхищение историков, не очень в них разбиравшихся.

Эти военные машины выросли в конце концов до неправдоподобных размеров, что легко объяснимо: в течение пятидесяти лет шла достойная посмешища борьба между броней и ядром – кто пробьет и кто выстоит! Корпуса из кованой стали сделались такими толстыми, а пушки такими тяжелыми, что корабли в конце концов стали тонуть от собственного веса; тем и закончилось сие благородное состязание – в момент, когда уже казалось, что ядро одолеет броню.

– Вот как воевали в те времена, – сказал г-н Югенен, указывая на одно такое бронированное чудовище, мирно покоящееся в глубине дока. – Люди запирались в этих железных коробках, и выбор был один: я тебя потоплю или ты меня потопишь.

– Значит, личное мужество не играло там большой роли, – заметил Мишель.

– Мужество стало приложением к пушкам, – ответил, смеясь, дядя. – Сражались машины, а не люди; отсюда дело и пошло к прекращению войн, становившихся смешными. Я еще могу понять, когда сражались врукопашную, когда убивали врага собственными руками...

– Какой вы кровожадный, месье Югенен, – проронила молодая девушка.

– Нет, мое дорогое дитя, я разумею, в той мере, в какой здесь вообще можно говорить о ра-

зуме: в войне тогда был свой смысл. Но с тех пор, как дальнотойность пушек достигла восьми тысяч метров, а 36-дюймовое ядро на дальности в сто метров стало пробивать тридцать четыре стоящих бок о бок лошади и шестьдесят восемь человек – согласитесь, личное мужество стало ненужной роскошью.

– И правда, – подхватил Мишель, – машины убили отвагу, а солдаты стали машинистами.

Пока продолжалась эта археологическая дискуссия о войнах прошлого, наши четверо визитеров прогуливались посреди чудес, которые открывались взгляду в торговых доках. Вокруг расстился целый город сплошных кабаков, где сошедшие на берег моряки разыгрывали из себя набобов и закатывали лихие пьянки. Отовсюду доносились их хриплые песни и по-морскому соленые ругательства. Эти дерзкие молодчики чувствовали себя как дома в торговом порту, раскинувшись прямо на равнине Гренели, они считали, что вправе орать в свое удовольствие. То был особый народец, не смешивавшийся с населением прочих пригородов и мало симпатичный. Представьте себе Гавр, отделенный от Парижа лишь течением Сены...

Торговые доки соединялись между собой разводными мостами, в определенные часы приводившимися в движение с помощью машин на сжатом воздухе Компании Катакомб. Воду совсем скрывали корпуса судов. Большинство из них было снабжено моторами, работавшими на ларах углекислоты, тут не нашлось бы ни одного трехмачтовика, ни одного брига, ни одной шхуны, ни одного люгера, ни одного рыбацкого баркаса, который не имел бы винта. Паруса канули в прошлое, ветер вышел из моды, в нем больше не нуждались, и преданный забвению старик Эол стыдливо прятался в своем мешке.

Понятно, насколько каналы, прорытые через Суэцкий и Панамский перешейки, способствовали расцвету дальнего плавания. Морские перевозки, освобожденные от пут монополии и ярма министерских согласований, достигли огромного размаха, множилось число судов всевозможных типов и моделей. Какое замечательное зрелище являли лайнеры всех размеров и национальностей, многоцветье их развивающихся на ветру флагов! Просторные причалы, гигантские склады ломились от товаров, их грузили с помощью самых хитроумных машин: одни формировали тюки, другие взвешивали, третьи наклеивали этикетки, четвертые грузили на борт. Суда, влекомые локомотивами, скользили вдоль гранитных стен. Кругом вздымались горы, сложенные из кип шерсти и хлопка, мешков сахара и кофе, ящиков чая, всего, что производилось на пяти континентах. В воздухе царил тот пи на что не похожий запах, который можно назвать ароматом торговли. Красочные объявления сообщали об отплытии кораблей в любые точки света, и все наречия мира звучали в этом Гренельском порту, самом оживленном на планете.

Панорама порта, если смотреть на него с высот Аркейя или Медона, поистине вызывала восхищение. Взгляд терялся в лесу мачт, ярко разукрашенных в праздничные дни: при входе в порт возвышалась башня приливной сигнализации, а в глубине на высоту пятисот футов вонзался в небо электрический маяк, практически бесполезный, зато бывший самым высоким сооружением в мире; его огни виднелись на расстоянии сорока лье, их можно было заметить и с башен Руанского собора.

Весь этот ансамбль вызывал восторг.

– Действительно, красота, – сказал дядюшка Югенен.

– Пулькрное<sup>59</sup> зрелище, – отозвался старый преподаватель.

– Пусть у нас нет ни моря, ни морского ветра, – продолжил г-н Югенен, – зато у нас есть корабли, и вода их несет, а ветер толкает.

Но где толпа действительно нажимала, где столпотворение было трудно преодолимым, так это на причалах самого большого дока, который едва вмещал громадину только что прибывшего «Левиафана IV». «Грейт Истерн» прошлого века не сгодился бы ему и в шлюпки. «Левиафан» прибыл из Нью-Йорка, и американцы могли похвастаться, что превзошли англичан: корабль нес тридцать мачт и пятнадцать труб; его машина развивала тридцать тысяч лошадиных сил, из них двадцать тысяч приводили в движение колеса, и десять тысяч – винт. Проложенная вдоль палуб железная дорога позволяла быстро перемещаться по кораблю. Между мачтами восторженному

---

<sup>59</sup> От лат. «pulche» – красиво, прекрасно.



взору открывались скверы, засаженные высокими деревьями, под их сенью прятались кустарники, газоны и цветники. Щеголи могли скакать верхом по извилистым аллеям. Этот плавучий парк вырос на десяти футах плодородной почвы, уложенной на верхней палубе. Корабль выглядел целым миром, он побивал самые удивительные рекорды: от Нью-Йорка до Саутгемптона он доплывал за три дня. Он был в двести футов шириной, а о длине можно было судить по следующему факту: когда «Левиафан IV» пришвартовывался носом к причалу, пассажирам с кормы приходилось преодолеть еще четверть лье, чтобы добраться до твердой земли.

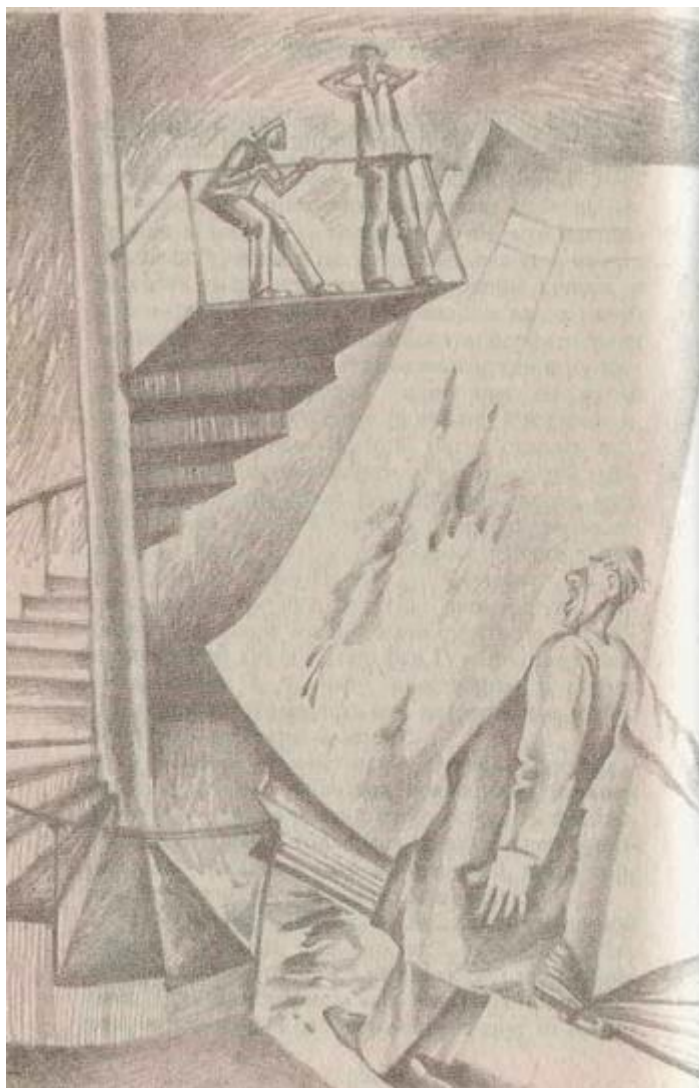
– Скоро, – заметил г-н Югенен, прогуливаясь под дубами, рябинами и акациями верхней палубы, – сумеют взаправду построить фантастический корабль голландских легенд, чей бушприт уже утыкался в остров Маврикий, когда корма еще оставалась на Брестском рейде.

Восхищались ли этой гигантской машиной Мишель и Люси, подобно всей окружавшей их ошеломленной толпе? Я не знаю, они прогуливались, тихо разговаривая или же храня проникновенное молчание, не отрывая глаз друг от друга.

Молодые люди вернулись в жилище дядюшки Югенена, так и не приметив ни одного из чудес Гренельского порта!

## **Глава XII**

### **Где рассказывается, что Кенсоннас думал о женщинах**



Ночь Мишель провел в сладостной бессоннице. К чему спать? Бодрствуя, грезить приятнее – чем молодой человек и занимался прилежно до утренней зари; его мысли складывались в строки самой совершенной, самой возвышенной поэзии.



Наутро Мишель спустился в контору, быстро взобрался на свою верхотуру. Кенсоннас ждал его. Мишель пожал, вернее крепко обхватил руку друга. Он был, однако, неразговорчив, сразу принялся за диктовку голосом, полным жара.

Кенсоннас с удивлением наблюдал за юношей, а тот избегал взгляда приятеля.

– Тут что-то не так, – подумал пианист, – как странно он выглядит! Похож на человека, перегревшегося где-нибудь в жарких странах.

Так прошел день, один диктовал, другой писал, и оба исподволь поглядывали друг на друга. Прошел второй день, а друзья так и не обменялись ни словом.

– Здесь пахнет любовью, – сказал себе пианист. – Пусть чувство вызреет, тогда он заговорит.

На третий день Мишель вдруг прервал Кенсоннаса в момент, когда тот выводил великолепную заглавную букву.

– Друг мой, что думаешь ты о женщинах? – краснея, спросил юноша.

– Так и есть, – заметил про себя пианист, промолчав.

Мишель, еще более краснея, повторил вопрос.

– Сын мой, – торжественно начал Кенсоннас, прервав работу. – Суждения, которые мы, мужчины, можем иметь о женщинах, весьма переменчивы. Утром я думаю о них не то, что вечером. Весна наводит на мысли, неподходящие для осени. На подход к проблеме могут решающим образом повлиять дождь или хорошая погода. Наконец, на мое восприятие женщин оказывает бесспорное влияние лучшее или худшее пищеварение.

– Это не ответ, – возразил Мишель.

– Сын мой, позволь ответить тебе на вопрос вопросом. Веришь ли ты, что на земле все еще есть женщины?

– Еще как верю! – вскричал юноша.

– Попадались ли они хоть когда-нибудь на твоем пути?

– Ежедневно!

– Давай договоримся о понятиях, – продолжил пианист. – Я не имею в виду эти женоподобные существа, чье назначение – способствовать распространению человеческого рода и кого в конечном счете заменят машинами на сжатом воздухе.

– Ты смеешься...

– Друг мой, об этом говорят вполне серьезно, но проект все же вызывает некоторые возражения.

– Послушай, Кенсоннас, – взмолился Мишель, – обойдемся без шуток!

– Ну уж нет, лучше повеселимся! Ладно, я возвращаюсь к моему тезису: женщин больше нет, их раса исчезла, подобно карликам<sup>60</sup> или мегалентериумам.<sup>61</sup>

– Прошу тебя!

– Нет уж, дай мне сказать, сын мой. Я думаю, что раньше, во времена весьма отдаленные, женщины действительно существовали: древние авторы утверждают это вполне определенно, они даже рассказывают о самом прекрасном их виде – Парижанке. Согласно старым текстам и эстампам того времени, она была очаровательным созданием, не имевшим равных во всем мире; она соединяла в себе самые совершенные пороки и самые порочные совершенства, будучи женщиной в полном смысле слова. Но мало-помалу кровь теряла чистоту, порода деградировала, и сей печальный декаданс зафиксирован в трудах физиологов. Приходилось ли тебе наблюдать, как из гусениц вылепляются бабочки?

– Да, – отозвался Мишель.

– Так вот, – продолжил пианист, – здесь все произошло наоборот: бабочка превратилась в гусеницу. Ласкающая взор походка Парижанки, ее грациозная осанка, ее насмешливый и нежный взгляд, ее милая улыбка, ее полные формы – они были как налитые и одновременно зна-

---

<sup>60</sup> Разновидность мопсов, в прошлом весьма популярных в качестве комнатных собак.

<sup>61</sup> Очевидно, мегатериумы – огромные хищники третичного периода.

ли точную меру – все это вскоре уступило место формам вытянутым, худощавым, высушенным, жилистым, костлявым, истощенным, а также развязности, механической, преднамеренной и в то же время пуританской. Талия сделалась плоской, взгляд мрачным, суставы потеряли гибкость; грубый, как бы одеревенелый нос теперь почти касается истонченных и поджатых губ; шаг стал длинным; ангел геометрии, некогда столь щедро одаривавший женщину самыми притягательными округлостями, теперь навязал ей строгую дисциплину прямых линий и острых углов. Француженка стала американкой: она всерьез рассуждает о важных делах, воспринимает жизнь без тени улыбки, оседлала тощую кобылу нравственности, одевается плохо, безвкусно, носит корсеты из гальванизированной стали, способные отразить самый сильный натиск. Сын мой, Франция лишилась своего главного преимущества: ее женщины в любезный век Людовика XV феминизировали мужчин, но с тех пор сами стали мужеподобными и не заслуживают более ни взгляда художника, ни внимания возлюбленного!

– Не преувеличивай! – вставил Мишель.

– А, – отпарировал Кенсоннас, – ты улыбаешься и думаешь, у тебя припасен аргумент, который меня сразит? У тебя наготове твоё маленькое исключение из общего правила? Так знай, одно подтверждает другое! Я настаиваю на сказанном. И даже иду дальше: нет женщины, к какому слою она бы ни принадлежала, кого не коснулась бы эта деградация породы. Гризетка исчезла; куртизанка, ставшая бесцветной содержанкой, являет теперь пример вопиющей аморальности: она неуклюжа и глупа, но делает себе состояние за счет порядка и экономии, и никто ради нее не разоряется. Разориться? Еще чего! Вот слово, которое полностью устарело. Сейчас, сын мой, кто только не обогащается! Не становятся богаче только тело и разум.

– Станешь ли ты утверждать, что в наше время женщину встретить невозможно?

– Конечно, во всяком случае, моложе девятиста пяти лет; последние женщины умерли с кончиной наших бабушек. Впрочем...

– А, есть и впрочем?

– Такой экземпляр может повстречаться в предместье Сен-Жермен; в этом крошечном уголке огромного Парижа еще могут изредка вырастить редкий цветок, *puela desiderata*,<sup>62</sup> как сказал бы твой преподаватель, но только там и нигде больше.

– Значит, – продолжил Мишель, иронически улыбаясь, – ты упорствуешь во мнении, что женщины – это исчезающая раса.

– Ах, сын мой, великие моралисты девятнадцатого века предугадывали сию катастрофу. Бальзак, знавший в женщинах толк, высказался в таком духе в известном письме к Стендалю: женщина, писал он, – Страсть, мужчина – Действие, вот почему мужчина обожал женщину. Но сегодня они оба – действие, и потому отныне во Франции женщин больше нет.

– Ладно, а что ты думаешь о браке?

– Ничего хорошего!

– Но все-таки?

– Я мог бы скорее одобрить чужой брак, нежели собственный.

– Значит, ты не собираешься жениться?

– Нет, по крайней мере до тех пор, пока не будет создан пресловутый суд – за него ратовал Вольтер, – уполномоченный судить супружескую неверность: он должен состоять из шести мужчин, шести женщин и одного гермафродита, который в случае раздела мнений поровну имел бы решающий голос.

– Хватит шутить!

– А я не шучу, только это могло бы дать гарантию. Помнишь, что произошло два месяца назад, когда в суде слушалось дело г-жи де Кутанс, обвиненной мужем в адюльтере?

– Нет.

– Так вот, председатель суда спросил у мадам де Кутанс, почему она забыла о своем долге. У меня плохая память, ответила она, и суд оправдал ее! Честно говоря, такой ответ заслуживал оправдания.

---

<sup>62</sup> Желанная девушка (лат.).

– Оставим мадам де Кутанс и вернемся к вопросу о браке.

– Сын мой, что касается этого предмета, вот тебе абсолютная истина: будучи холостым, всегда можно жениться, будучи женатым, невозможно вновь стать холостым. Быть супругом или быть свободным – между двумя состояниями пропасть.

– Кенсоннас, что конкретно имеешь ты против брака?

– Я тебе вот что скажу: в эпоху, когда семья разрушается, когда частный интерес толкает каждого из ее членов на свой, особый путь; когда потребность в обогащении любой ценой убивает сердечную привязанность, брак представляется мне героической ненужностью. Когда-то, по утверждениям старых авторов, все выглядело иначе. Листая старые словари, ты будешь удивляться, обнаруживая там такие слова, как пенаты, лары,<sup>63</sup> домашний очаг, домашняя обстановка, подруга жизни и т. п. – понятия, давно исчезнувшие вместе с явлениями, которые они олицетворяли. Ими уже не пользуются. Как представляется, во времена оные супруги (еще одно вышедшее из употребления слово) были заодно, их существование представлялось нераздельным; тогда помнили завет Санчо: совет жены – не Бог вещь, что, но только безумец его не послушает! И слушали. А теперь? Все стало по-другому: нынешний муж живет отдельно от жены, его дом – Клуб, он там обедает, работает, ужинает, играет и спит. Мадам также занята делами – своими. Если месье случайно повстречает ее на улице, он здоровается с ней, как с посторонней. Время от времени он посещает ее с визитом, появляется на ее понедельниках или средах; иногда мадам приглашает его отобедать, реже – провести вечер; в общем, они встречаются так мало, видятся так мало, разговаривают так мало, обращаются друг к другу на ты так мало, что возникает законный вопрос: каким образом в нашем мире все же появляются наследники?

– Здесь ты близок к истине, – заметил Мишель.

– Это сама истина, сын мой, – продолжил Кенсоннас. – Наше время унаследовало тенденцию, проявившуюся в прошлом веке: тогда стремились иметь как можно меньше детей, матери не скрывали досады, когда дочери слишком быстро беременели, а молодые мужья впадали в отчаяние, совершив такую неловкость. В наши дни число законных детей резко упало в пользу незаконнорожденных; последние составляют подавляющее большинство, скоро они станут хозяевами во Франции и предложат закон, который запретит установление отцовства.

– Тут нечего и спорить, – откликнулся Мишель.

– Так вот, – продолжил Кенсоннас, – зло, если здесь можно говорить о зле, проникло во все классы общества. Заметь, что я, как старый эгоист, не порицаю это состояние вещей, я им пользуюсь. Но я настаиваю, что брак более не синоним семье и что от факела Гименея сегодня уже не зажечь тот огонь, на котором закипает любовное зелье.

– Так значит, – настаивал Мишель, – если бы по какой-либо невероятной, невысказанной, согласен, причине ты бы захотел жениться...

– Дорогой мой, я сначала постарался бы обмиллиониться, как и все: чтобы обеспечить достойный образ жизни на двоих, нужны деньги. Редко удастся выйти замуж девушке, если в отцовских сундуках не лежит эквивалент ее веса в золоте. Ни один сын банкира не польстился бы теперь на какую-нибудь Марию-Луизу с ее несчастными двумястами пятьюдесятью тысячами приданого.

– Но Наполеон?

– Наполеоны попадают редко, сын мой.

– Получается, что мысль о собственном браке не очень тебя увлекает?

– Совсем нет.

– А о моем?

– Приехали, – сказал про себя пианист, ничего не ответив.

– Ну же, – настаивал юноша, – ты молчишь?

– Я смотрю на тебя, – угрюмо произнес Кенсоннас.

– И что...

– И примериваюсь, как бы половчее связать тебя.

---

<sup>63</sup> У древних римлян духи – покровители семьи.

- Меня!
- Да, безумец, псих – подумай, что с тобой станет!
- Я стану счастливым!
- Давай порассуждаем. Либо в тебе есть искра гения, либо ее нет. Если тебя от этого слова коробит, скажем – талант. Если у тебя его нет, вы оба умрете в нищете. Если есть, дело другое.
- То есть как?
- Дитя мое, разве ты не знаешь, что гений и даже просто талант – это болезнь, и жена художника должна смириться с ролью сиделки при больном.
- Я как раз нашел...
- Сестру милосердия, – отпарировал Кенсоннас, – но их больше нет. Теперь можно найти лишь дальнюю кухню милосердия, да и то!
- Я нашел, говорю я тебе, – упорствовал Мишель.
- Женщину?
- Да!
- Девушку?
- Да!
- Ангела?
- Да!
- Так вот, сын мой, ощипи у него перья и посади в клетку, не то улетит.
- Послушай, Кенсоннас, речь о молодой девушке, скромной, доброй, любящей...
- И богатой?
- Бедной! На грани нищеты. Я видел ее лишь однажды...
- Ох, как много! Неплохо было бы, если бы ты с ней виделся почаще...
- Не надо шуток, друг мой, она – внучка моего старого преподавателя, я люблю ее до потери рассудка; мы беседовали, как если бы уже двадцать лет были друзьями, она полюбит меня! Она – ангел!
- Ты повторяешься, сын мой. Паскаль сказал, что человек никогда не бывает ни ангелом, ни бестией. Что ж, ты и твоя красавица опровергаете его самым жестоким образом.
- О, Кенсоннас!
- Успокойся, ты не ангел. Да мыслимо ли это, он – влюблен, он в девятнадцать лет собирается сделать то, что и в сорок еще остается глупостью!
- Но все равно остается счастьем – если ты любим!
- Хватит, замолчи, – закричал пианист, – замолчи, ты выводишь меня из себя, ни слова больше, не то я...

Кенсоннас, взаправду рассердившийся, со всей силы молотил в такт своим словам по запятнанным страницам Главной Книги.

Женщины и любовь, без сомнения, сюжет неисчерпаемый, и дискуссия между молодыми людьми наверняка продлилась бы до вечера, если бы не произошел ужасный случай с непредсказуемыми последствиями.

Яростно жестикулируя, Кенсоннас неловко задел колоссальный сифонообразный аппарат, откуда он черпал разноцветные чернила, – и красные, желтые, зеленые, синие полосы, подобно потокам лавы, заструились по страницам Главной Книги.

Кенсоннас не смог сдержать отчаянный вопль, потрясший контуры; все подумали, что Главная Книга рушится.

– Мы пропали, – промолвил Мишель изменившимся голосом.

– Именно так, сын мой, – подтвердил Кенсоннас. – Мы тонем, спасайся кто может!

Но в этот момент в зале бухгалтерии появились г-н Касмодаж и кузен Атаназ. Банкир приблизился к месту бедствия. Он был сражен, он открывал рот и не мог вымолвить ни слова, гнев душил его.

И было из-за чего! Замечательная книга, куда заносились бесчисленные операции банковского дома, – запятнана! Ценнейшее собрание финансовых сделок – запачкано! Бесподобный атлас, вобравший в себя весь мир – замаран! Гигантский монумент, который по праздничным

дням демонстрировался посетителям, – покрыт грязью, вымазан, опозорен, испорчен, загублен! Его хранитель, человек, которому была доверена такая важная миссия, – изменил присяге! Жрец собственными руками обесчестил алтарь!

Все эти страшные образы сменяли друг друга в воспаленном мозгу г-на Касмодажа, ему никак не удавалось обрести дар речи. В конторе царило зловещее молчание.

И вдруг г-н Касмодаж сделал жест, обращенный к несчастному копировщику: рука банкира указала тому на дверь с такой решимостью, с такой убежденностью, с такой силой воли, что ошибиться было невозможно. Этот красноречивый жест настолько ясно означал «вон!» на всех известных человечеству языках, что Кенсоннас сейчас же спустился с гостеприимных высот, где прошла его молодость. Мишель, последовавший за другом, обратился к банкиру.

– Месье, – сказал юноша, – это я причиной...

Вторым взмахом той же руки, еще более резким, если только это было возможно, банкир послал диктовальщика по стопам копировщика.

Кенсоннас не торопясь снял полотняные нарукавники, взял свою шляпу, вытер ее локтем и водрузил на голову, после чего двинулся прямо к г-ну Касмодажу.

Глаза банкира метали молнии, но разразиться громом ему никак не удавалось.

– Месье Касмодаж и К°, – сказал Кенсоннас самым любезным тоном, – вы могли бы подумать, что я – автор преступления, ибо только так можно назвать бесчестье, причиненное вашей Главной Книге. Я не должен оставлять вас в этом заблуждении. Как и во всех бедах, случающихся в нашем бренном мире, причиной происшедшего здесь непоправимого несчастья стали женщины; а потому предъявляйте претензии нашей праматери Еве и ее идиоту супругу. Все наши несчастья и болезни от них, и если у нас сводит желудок, то только потому, что Адам ел сырые яблоки. На сем прощайте.

Артист вышел, Мишель за ним; позади Атаназ поддерживал протянутую к двери руку банкира, как Аарон руку Моисея во время битвы с амалекитянами.

### **Глава XIII**

#### **Где речь идет о том, как легко художнику умереть с голоду в XX веке**





Положение юноши круто изменилось. Сколь многие на его месте пришли бы в отчаяние, не будучи способны посмотреть на происшедшее его глазами: Мишель не мог более рассчитывать на семейство дяди Бутардена, зато, наконец, он ощутил себя свободным; его выгоняли, выставляли за дверь, а ему казалось, что он выходит из тюрьмы; его «отблагодарили» – выпроводили, а он считал, что должен тысячу раз быть благодарным за это. Его не заботило, что с ним станет. Оказавшись на воле, он чувствовал себя годным на любые подвиги.

Кенсоннасу не без труда удалось успокоить друга, он постарался сбить овладевшее юношей возбуждение.

– Идем ко мне, – сказал артист, – нужно же где-то спать.

– Спать, когда восходит день! – возразил Мишель, воздев руки.

– Метафорически он восходит, согласен, – ответил Кенсоннас, – но физически сейчас ночь, а под звездами теперь уже не спят; да их и нет больше, астрономов интересуют только те, что не видны нам. Пойдем, обсудим ситуацию.

– Не сегодня, – попросил Мишель, – ты станешь говорить мне неприятные вещи, но я и так все понимаю. Чего, думаешь ты, я не знаю? Сказал бы ты рабу, опьяенному первыми часами свободы: «Вы знаете, друг мой, теперь вы умрете с голоду»?

– Ты прав, сегодня я промолчу, но завтра!

– Завтра воскресенье! Неужели ты захочешь испортить мне праздничный день?

– Что же, мы вовсе не поговорим?

– Нет, обязательно, этими днями!

– Послушай, у меня есть идея: поскольку завтра воскресенье, что если мы пойдем повидать твоего дядюшку Югенена? Я отнюдь не возражал бы против знакомства с этим добрейшим че-

ловеком.

– Сказано – сделано! – воскликнул Мишель.

– Хорошо, но когда мы будем втроем, ты, может быть, все-таки позволишь поискать выход из создавшегося положения?

– Ладно, согласен, и провались я на этом месте, если мы не найдем его!

– Хе-хе, – пробурчал Кенсоннас, кивнув головой, но не добавив ни слова.

Рано утром следующего дня Кенсоннас взял газ-кеб и заехал за Мишелем. Тот ждал друга, тут же вышел и прыгнул в машину; механик тронул ее с места; было одно удовольствие быстро катить в экипаже, на первый взгляд даже не имевшем мотора. Кенсоннас отдавал этому средству передвижения безусловное предпочтение перед метрополитеном.

Стояла прекрасная погода. Газ-кеб катился по едва просыпающимся улицам, ловко поворачивал на перекрестках, без труда преодолевал подъемы и набирал иногда поразительную скорость на битумных мостовых.

Через двадцать минут они остановились на Бульварной улице. Кенсоннас расплатился за проезд, и друзья вскоре оказались перед квартирой дядюшки Югенена.

Дверь открылась, Мишель бросился дяде на шею, потом представил Кенсоннаса.

Г-н Югенен сердечно принял пианиста, усадил гостей и без излишних церемоний пригласил их откусать.

– Послушайте, дядюшка, – сказал Мишель, – у меня есть план.

– Какой, дитя мое?

– Увезти вас на целый день за город, на природу.

– На природу! – воскликнул дядюшка. – Но, Мишель, природы больше не существует!

– Верно, – поддержал дядю Кенсоннас, – где ты возьмешь природу?

– Вижу, месье Кенсоннас разделяет мое мнение, – отметил дядюшка.

– Полностью, месье Югенен.

– Видишь ли, Мишель, – продолжил дядя, – для меня природа, загород – это даже не столько деревья, равнины, ручьи, луга, это в первую очередь воздух. А воздуха не осталось и в десяти лье от Парижа. Мы «завидовали» воздуху Лондона, и вот теперь с помощью десяти тысяч заводских труб, химических производств, искусственного гуано, угольного дыма, смертоносных газов и промышленных миазмов нам удалось сфабриковать себе воздух, который стоит британского. Так что если только не забраться далеко, слишком далеко для моих старых ног, нельзя и думать, что мы сможем подышать чем-либо чистым. Если ты мне веришь, лучше спокойно останемся здесь, тщательно закроем окна и пообедаем так хорошо, как это только будет возможно.

Пожелание дядюшки Югенена было принято, они сели за стол, ели и беседовали о чем придется. Г-н Югенен поглядывал на Кенсоннаса, тот не удержался и сказал за десертом:

– Честное слово, месье Югенен, у вас доброе лицо, на которое приятно смотреть, особенно теперь, в эпоху мрачных физиономий. Позвольте мне снова пожать вам руку.

– Месье Кенсоннас, я вас знаю уже давно, племянник часто мне о вас рассказывал. Знаю, что вы принадлежите к числу наших единомышленников. Я признателен Мишелю за этот визит, он хорошо сделал, приведя вас сюда.

– Ох-ох, месье Югенен, лучше скажите, что это я его привел, вы будете ближе к истине.

– Что случилось, Мишель, почему тебя надо было приводить?

– Месье Югенен, – вмешался Кенсоннас, – приводить – это еще слабо сказано, его надо было тащить.

– Ну уж, – вставил Мишель, – Кенсоннас – само преувеличение!

– И все-таки... – спросил дядюшка.

– Месье Югенен, – ответил пианист, – взгляните на нас хорошенько.

– Я смотрю на вас, господа.

– Ну-ка, Мишель, повернись, чтобы твой дядя мог изучить нас со всех сторон.

– Все же поведайте мне причину сей эгзибиции.

– Месье Югенен, не находите ли вы в нас нечто, присущее людям, которых вышвырнули на улицу?

– Вышвырнули на улицу?

– О да, да еще с каким треском.

– Как, с вами приключилось несчастье?

– Счастье! – возразил Мишель.

– Дитя! – констатировал Кенсоннас, пожимая плечами. – Месье Югенен, мы попросту оказались на мостовой, вернее, на битуме парижских улиц!

– Возможно ли это?

– Да, дядюшка, – ответил Мишель.

– Что же произошло?

Кенсоннас пустился в повествование о катастрофе; его слог, то, как он рассказывал и изображал события, его подход к жизни, в котором, несмотря ни на что, преобладала бурлящая, бьющая через край энергия, – все не раз вызывало на устах г-на Югенена невольную улыбку.

– А ведь смеяться-то не с чего, – заметил дядя.

– Но не с чего и плакать, – возразил Мишель.

– Что с вами станет?

– Не будем говорить обо мне, займемся ребенком, – ответил Кенсоннас.

– А главное, – отпарировал юноша, – поговорим, как если бы меня здесь не было.

– Ситуация такова, – продолжал Кенсоннас. – У нас есть молодой человек, который не может стать ни финансистом, ни коммерсантом, ни промышленником; как выпутается он из сложившегося положения в мире, в каком мы теперь живем?

– Да, именно такова проблема, которую предстоит решить, – отозвался дядюшка, – и проблема в высшей степени трудная. Вы, месье, только что перечислили три профессии, в наши дни только они и существуют, я не вижу других возможностей, если только не стать...

– Земельным собственником, – вставил пианист.

– Именно!

– Собственником? – расхохотался Мишель.

– Вот именно. А он еще насмехается! – воскликнул Кенсоннас, – Он с непростительной легкостью относится к этой столь же доходной, как и почетной профессии. Несчастный, задумывался ли ты когда-нибудь над тем, что такое собственник? А ведь это слово, сын мой, полно самого ошеломляющего содержания! Представь только, что человек, тебе подобный, состоящий из мяса и костей, рожденный женщиной, простой смертный, владеет частью земного шара! Что эта часть земного шара принадлежит ему лично, как его голова, а возможно, и еще надежнее. Что никто, даже Бог, не может лишить его этого кусочка земного шара, собственник же может передать его по наследству. Что собственник на этом кусочке земного шара имеет право копать, перелицовывать, строить. Что воздух над ним, вода, орошающая его, – все принадлежит собственнику. Что он может сжечь свое дерево, выпить свой ручей, съесть свою траву, если ему только захочется. Что каждый день он говорит себе: вот та Земля, которую Бог создал в первый день творения, и я – владелец частички ее, мне, только мне принадлежит этот кусочек поверхности полушария, вместе с вздымающимся над ним на высоту шести тысяч туазов<sup>64</sup> столбом воздуха, которым я дышу, и колонной земной коры, уходящей под ним на глубину полутора тысяч лье! Действительно, этому человеку принадлежит основание его участка, простирающееся до самого центра Земли, он ограничен в своих правах только правами такого же собственника, проживающего на противоположной стороне планеты. Да, достойное сожаления дитя, раз ты смеешься, значит, ты никогда не задумывался о том, что человек, владеющий одним лишь гектаром земли, на самом деле является собственником конуса объемом в двадцать миллиардов кубических метров, и все это – его, принадлежит ему, только ему и целиком и полностью ему!

Кенсоннас был великолепен, с него хотелось писать картину: какая жестикуляция, какое выражение лица! Он был так убедителен, что не приходилось сомневаться: этому человеку что-то принадлежало под солнцем, он был собственником!

– О, месье Кенсоннас, – воскликнул дядюшка Югенен, – вы бесподобны! Послушав вас, за-

---

<sup>64</sup> Туаз – старинная французская мера длины. 1 туаз = 1,949 м.

хочешь стать собственником и оставаться им до конца дней!

– Не правда ли, месье Югенен? А этот младенец смеется!

– Да, я смеюсь, – возразил Мишель, – ибо мне никогда не владеть хотя бы квадратным метром земли, разве что случай...

– Что значит случай? – вскричал пианист, – вот слово, смысла которого ты не понимаешь, хотя пользуешься им.

– Что ты хочешь сказать?

– Я хочу сказать, что слово «случай» происходит от арабского,<sup>65</sup> происходит от названия замка Эль Азар в Сирии) и что означает оно «трудный» и ничего больше; следовательно, наш мир сотворен из трудностей, которые надо преодолевать, и с помощью настойчивости и ума с ними можно справиться!

– Именно так! – согласился г-н Югенен. – Ну-ка, Мишель, что ты думаешь об этом?

– Дядюшка, я не тщеславен, и двадцать миллиардов Кенсоннаса оставляют меня равнодушным.

– Посчитай же, – возразил Кенсоннас, – гектар земли дает двадцать – двадцать пять центнеров зерна, а из одного центнера зерна можно выпечь семьдесят пять килограммов хлеба – из расчета одного фунта в день хватит на полгода на пропитание.

– На пропитание, на пропитание, – проворчал Мишель, – все время одна и та же песня!

– Да, сын мой, песня о хлебе, которая часто поется на весьма грустную мелодию.

– И все же, Мишель, – спросил дядюшка Югенен, – что собираешься ты делать?

– Если бы я был абсолютно волен, дядюшка, я бы постарался воплотить в жизнь то понятие счастья, определение которого, содержащее четыре условия, я вычитал не помню где.

– Какие же это условия, очень любопытно узнать, – вставил Кенсоннас.

– Жизнь на природе, любовь к женщине, равнодушие к любым почестям и сотворение прекрасного нового.

– Видите, – рассмеялся Кенсоннас, – Мишель уже осуществил половину своей программы.

– Это как? – спросил г-н Югенен.

– Жизнь на природе? Его уже выкинули на улицу.

– Точно, – поддакнул дядя.

– Любовь к женщине?..

– Оставим, – сказал Мишель, краснея.

– Ладно, – посмеиваясь, согласился дядюшка.

– Что касается двух других условий, – продолжал Кенсоннас, – с этим труднее. Думаю, он достаточно честолобив, чтобы не быть полностью равнодушным ко всяким почестям...

– Но сотворение прекрасного нового! – воскликнул Мишель с горячностью, вскакивая с места.

– Малый вполне способен на это, – отозвался Кенсоннас.

– Бедное дитя, – произнес дядя голосом, полным грусти.

– Дядюшка...

– Ты ничего не знаешь о жизни, а, как сказал Сенека, всю жизнь надо учиться жить. Заклинаю тебя, не дай бессмысленным надеждам увлечь себя, думай о препятствиях!

– Действительно, – поддержал дядю Кенсоннас, – в нашем мире ничто само собой не делается; как и в механике, приходится считаться со средой и с трением. Трения – с друзьями, врагами, приставами, соперниками. Среда – женщины, семья, общество. Хороший инженер должен все принимать в расчет!

– Месье Кенсоннас прав, – подтвердил дядюшка Югенен, – но давай переберем еще раз все варианты. В области финансов тебе до сих пор не везло.

– Потому я и хотел бы жить соответственно моим вкусам и способностям.

– Твои способности! – воскликнул пианист, – посмотри, ты сейчас являешь собой печальное зрелище поэта, умирающего с голоду, но все же питающего Надежды!

---

<sup>65</sup> Французское «hasard» – «случай» – произносится «азар» (ср. русское «азарт»).



– Чертов Кенсоннас, – отпарировал Мишель, – ничего себе шуточки!

– Я не шучу, я привожу аргументы. Ты хочешь быть художником в эпоху, когда искусство умерло!

– Ну так уж и умерло!

– Умерло и похоронено, с эпитафией и надгробной урной. Представь, что ты – живописец. Так вот, живопись более не существует, картин больше нет, даже в Лувре: их так умело реставрировали в прошлом веке, что краска осыпается с них, как чешуя; от рафаэлевского Святого Семейства остались всего лишь одна рука Богоматери и один глаз Святого Иоанна – согласись, не так уж много; «Свадьба в Кане Галилейской»<sup>66</sup> являет взору только повисший в воздухе смычок, играющий на свободно парящей виоле – этого явно мало! Тицианов, Кореджо, Джорджоне, Леонардо, Мурильо, Рубensoв постигла кожная болезнь, подхваченная ими в контакте с их врачами и от которой они умирают; все, что мы можем увидеть на их заключенных в роскошные рамы полотнах, – едва различимые тени, расплывчатые линии, размытые, почерневшие, смешавшиеся краски. Картины предали гниению, художников – тоже: уже пятьдесят лет, как не было ни одной выставки. К счастью!

– К счастью, – повторил дядя Югенен.

– Вот именно! Ибо уже в прошлом веке реализм достиг таких высот, что этого нельзя было дальше терпеть! Рассказывают даже, что на одной из последних выставок некий Курбе предстал перед посетителями стоя лицом к стене в процессе осуществления одного из наиболее гигиенических, но наименее элегантных актов жизни.<sup>67</sup> Достаточно, чтобы спугнуть птиц Зевксиса.

– Какой ужас, – заметил дядя.

– Что с него взять, – откликнулся Кенсоннас, – Курбе был овернцем. Так вот, в двадцатом веке – уже ни живописи, ни живописцев. Есть ли еще скульпторы? Мало вероятно, особенно с тех пор, как во дворе Лувра прямо посередине водрузили статую музы промышленности: толстая мегера, сидящая на корточках на цилиндре от машины, на коленях держит виадук, одной рукой выкачивает пар, другой нагнетает, на плечах у нее ожерелье из маленьких локомотивчиков, а в шиньоне – громоотвод!

– Боже ты мой, – вздохнул дядюшка Югенен, – надо пойти взглянуть на этот шедевр!

– Вполне стоит, – подтвердил Кенсоннас. – Итак, скульпторов больше нет. А что насчет музыкантов? Ты, Мишель, знаком с моим мнением. Займешься литературой? Но кто теперь читает романы – этого не делают даже те, кто их пишет, если судить по их стилю. Нет, со всем этим покончено, все ушло в прошлое и похоронено!

– Хорошо, – настаивал Мишель, – но рядом с искусствами есть профессии, им близкие!

– Ну да, когда-то можно было стать журналистом, согласен. Хорошая возможность для эпохи, где еще существовала буржуазия, читавшая газеты и занимавшаяся политикой. Но кто сейчас станет заниматься политикой? Внешней? – Нет, войны стали невозможными, и дипломатия вышла из моды. Внутренней? – Полное затишье! Во Франции не осталось более политических партий: орлеанисты занимаются коммерцией, а республиканцы – промышленностью; еще есть горстка легитимистов, верных неаполитанским Бурбонам, они издают крошечную «Газету», чтобы иметь возможность поплакаться. Правительство ведет свои дела как хороший негодяй, регулярно платит по обязательствам; говорят, в этом году оно даже выплатит дивиденды! Выборы больше никого не волнуют: отцам-депутатам наследуют депутаты-сыновья, они спокойно, без шума занимаются своим ремеслом законодателей, как послушные дети, которые делают уроки в своей комнате. Можно и правда подумать, что слово «кандидат» происходит от слова «кандид».<sup>68</sup> Когда дела обстоят так, какой смысл в журналистике? – Никакого!

– К сожалению, все это верно, – подтвердил дядюшка Югенен, – журналистика отошла в

---

<sup>66</sup> Картина Веронезе.

<sup>67</sup> Снова рискованная фантазия Жюль Верна.

<sup>68</sup> Кандид (франц.) – простодушный, наивный (ср. у Вольтера).



прошлое.

– Да, и как беглец из Фонтевро или Мелена,<sup>69</sup> она больше не вернется. Сто лет назад ею злоупотребляли, тогда никто не читал – все писали.

В 1900 году во Франции количество газет и журналов, политических или нет, иллюстрированных или нет, достигало шестидесяти тысяч, для нужд образования сельского населения они публиковались на всех диалектах и наречиях, на пикардийском, баскском, бретонском, арабском; да, господа, существовала газета на арабском, называвшаяся «Часовой Сахары», шутники окрестили ее «Ежеверблужьей газетой»!<sup>70</sup> Так вот, все это изобилие прессы скоро положило конец журналистике уже по той бесспорной причине, что литераторов стало больше, чем читателей!

– В ту эпоху, – вставил дядюшка Югенен, – были еще бульварные газеты, позволявшие худо-бедно существовать.

– Верно, – подтвердил Кенсоннас, – но при всех бесспорных достоинствах их постигла судьба кобылы Роланда: ребята, редактировавшие эти газетки, настолько изощрились в остроумии, что жила в конце концов истощилась; никто уже ничего не понимал, даже те, кто еще читал. Кстати, эти милые литераторы в конце концов перестреляли друг друга, в прямом и переносном смысле слова, ибо никогда более не собирался такой урожай пощечин и ударов тростью, – чтобы выдержать, надо было иметь крепкую спину и столь же крепкие скулы. Чрезмерность привела к катастрофе, и бульварная журналистика канула в забвение, как еще раньше серьезная.

– Но, – спросил Мишель, – разве не существовала еще и критика, неплохо кормившая своих служителей?

– Конечно, – ответил Кенсоннас, – у нее были свои принцы! Люди, кому было не занимать таланта, еще могли им поделиться! Выстраивались очереди на прием к Великим, кое-кто из них не гнушался даже устанавливать тарифы на свои похвалы, и им платили, платили до тех пор, пока непредвиденный случай не погубил разом всех этих великих жрецов разносов.

– Что за случай? – спросил Мишель.

– Буквальное применение некой статьи Кодекса. Поскольку любой упомянутый в какой-либо газетной заметке имел право опубликовать ответ на том же месте и в том же числе строк, авторы театральных пьес, романов, трудов по философии и истории принялись в массовом порядке отвечать критикам. Каждый имел право на точно такое же количество слов, и каждый этим правом пользовался; газеты сначала пробовали сопротивляться, пошли судебные процессы, но газеты их проигрывали. Тогда, чтобы удовлетворить жалобщиков, газеты увеличили формат. Однако в поток протестующих влились еще и всякого рода изобретатели, стало невозможно что-либо напечатать, чтобы не быть обязанным опубликовать ответ. Злоупотребления приняли такой масштаб, что в конце концов критика была прикончена на месте. А с ней исчезла и последняя возможность жить журналистикой.

– Но что же делать? – спросил дядюшка Югенен.

– Что делать? В этом весь вопрос – только разве стать врачом, если не хочешь идти ни в промышленность, ни в коммерцию, ни в финансы. И то, дьявол их побери, болезни, как кажется, сходят на нет, и если факультет<sup>71</sup> не сумеет привить людям новые, скоро врачи останутся без работы! Не говорю уж об адвокатуре: процессов больше не устраивают, считают за лучшее договориться; плохую сделку предпочитают хорошему процессу, это быстрее и выгоднее!

– Но, как я понимаю, еще существует финансовая пресса, – заметил дядя.

– Да, – согласился Кенсоннас, – но захочет ли Мишель пойти туда, сделаться составителем финансовых бюллетеней, обрядиться в ливрею Касмодажа или Бутардена, править злосчастные столбцы цифр торговли салом, рапсом или трехпроцентным займом, каждый день попадаться с

---

<sup>69</sup> Речь идет об известных в то время тюрьмах.

<sup>70</sup> Во французском тексте игра слов, основанная на слиянии терминов «еженедельник» – «эбдомадэр» и «верблюд» – «дромадер», что дает «эбдромадер».

<sup>71</sup> Имеется в виду Медицинский факультет Университета.

поличным на ошибках, с апломбом предсказывать события, исходя из правила, согласно которому, если прогноз не оправдывается, о пророке забудут, а если оправдывается, можно петь осанну собственной проницательности; наконец, брать наличными за то, чтобы раздавить конкурента к великой пользе какого-либо банкира, что даже менее достойно, нежели вытирать пыль в его кабинете! Пойдет ли Мишель на все это?

– Нет, уж точно нет!

– Остается только государственная служба, можно стать чиновником; их сейчас во Франции десять миллионов. Подсчитай шансы на продвижение и занимай очередь!

– Ей-богу, – сказал дядюшка, – может быть, такое решение было бы самым разумным?

– Разумным, но беспросветным, – возразил юноша.

– И все-таки, Мишель.

– В обзоре профессий, могущих прокормить, – ответил племянник, – Кенсоннас одну все же упустил.

– Которую? – полюбопытствовал пианист.

– Драматурга.

– Так ты хочешь заняться театром?

– Почему бы и нет? Разве театр не кормит, говоря твоим отвратительным языком?

– Послушай, Мишель, – ответил Кенсоннас, – вместо того, чтобы рассказывать тебе, что я думаю, я предоставляю тебе возможность самому вкусить это. Я дам тебе рекомендательное письмо к Генеральному директору Драматических Складов, и ты себя испытаешь!

– Когда?

– Не позже чем завтра.

– Договорились.

– Договорились.

– Это всерьез? – осведомился дядюшка Югенен.

– Абсолютно всерьез, – ответил Кенсоннас. – Может быть, он и справится. Во всяком случае, что сейчас, что через полгода, очиничиться время будет.

– Что ж, Мишель, проверим тебя в деле. Но вы, месье Кенсоннас, вы разделили несчастье, постигшее этого ребенка. Могу ли я позволить себе спросить, что собираетесь делать вы?

– О, месье Югенен, обо мне не беспокойтесь, – ответил пианист, – Мишель знает, что у меня есть великий план.

– Да, – подтвердил юноша, – он хочет удивить век.

– Удивить век?

– Такова высокая цель моей жизни. Думаю, дело у меня в кармане, но сначала я намерен поехать за границу и сделать первую пробу там. Знаете, именно там создаются великие репутации.

– Ты уедешь? – спросил Мишель.

– Через несколько месяцев, – ответил Кенсоннас, – но я быстро вернусь.

– Удачи вам, – пожелал г-н Югенен, протягивая руку поднявшемуся Кенсоннасу, – и спасибо за дружбу, которую вы испытываете к Мишелю.

– Если ребенок хочет пойти со мной, – ответил пианист, – я немедленно добуду ему рекомендательное письмо.

– Охотно, – согласился юноша, – прощай, мой добрый дядюшка!

– Прощай, сын мой!

– До свиданья, месье Югенен, – сказал пианист.

– До свиданья, месье Кенсоннас, пусть фортуна вам улыбнется!

– Улыбнется? – ответил Кенсоннас. – Больше чем улыбнется, месье Югенен, я хочу, чтобы она приветствовала меня раскатистым смехом!

## **Глава XIV**

### **Большие Драматические Склады**



В эпоху всеобщей централизации, распространявшейся на духовную сферу в той же мере, что и на область механики, создание Драматических Складов было делом естественным и необходимым. В 1903 году нашлись люди, одновременно практичные и находчивые, которые получили лицензию на образование этой крупной и важной компании.

Но двадцатью годами позже она перешла в руки государства и теперь работала под началом Генерального директора, имевшего чин Государственного Советника.

Здесь пятьдесят театров столицы снабжались пьесами всевозможных жанров; одни изготовлялись в плановом порядке, другие – по заказу, будь то под актера или под идею.

В этой новой ситуации цензура скончалась естественной смертью, и символические ножницы, брошенные подальше, ржавели в столе; они, впрочем, давно затупились от чрезмерного употребления, но правительство не захотело тратить на то, чтобы их наточить.

Директора как парижских, так и провинциальных театров были государственными чиновниками, их назначали, содержали, провозжали в отставку и награждали в зависимости от возраста и заслуг.

Актеры оплачивались из бюджета, но еще не имели статуса государственных служащих. Былые предрассудки по отношению к ним день ото дня стирались, их ремесло вошло в число вполне почтенных профессий, их все чаще приглашали участвовать в спектаклях, что ставились в частных салонах; там они делили роли с завсегдатаями, и в конечном счете их стали принимать за своих. Случалось, что великосветские дамы, подавая реплику великим актрисам, так обращались к ним:

– Вы лучше меня, мадам, на вашем челе светится добродетель; я же всего лишь несчастная куртизанка!

Такие вот звучали любезности.

А один разбогатевший актер Комеди Франсэз ставил у себя дома пьесы интимного характера, приглашая играть отпрысков хороших семей.

Все это невероятно подняло профессию актера.

Создание Больших Драматических Складов привело к исчезновению шумного племени драматургов. Служащие компании получали свое ежемесячное жалованье, кстати весьма высокое, а государство оприходовало сборы.

Так функционировало высшее руководство драматической литературой. Если Большие Склады и не выдавали шедевров, они, по крайней мере, умели своими нехитрыми произведениями развлечь нетребовательную публику. Старых авторов больше не играли. Лишь иногда и в порядке исключения в театре Пале Руаяль давали Мольера, украшенного куплетами и шуточками господ комедиантов. Что касается Гюго, Дюма, Понсара, Ожье, Скриба, Сарду, Барьера, Мериса, Вакри, они отвергались разом; некогда они злоупотребили своим талантом, чтобы увлечь за собой век, а в хорошо организованном обществе век должен, как правило, идти шагом, но никак уж не бежать; к тому же в их упряжке коренные имели ноги и легкие оленей, а это небезопасно.

Так что теперь во всем был большой порядок, как и положено у людей цивилизованных. Авторы-служащие жили хорошо и не переутомляли себя. Не встречалось больше этих богемных поэтов, нищих гениев, извечно, как казалось, протестовавших против заведенного порядка вещей. Разве пристало сетовать на существование подобной организации, которая убивала личность, но зато поставляла публике литературу в количестве, достаточном для удовлетворения ее потребностей?

Случалось, какой-нибудь бедолага, чувствуя, что в его душе горит священный огонь, пытался пробиться, минуя сию систему; театры, однако, были ему закрыты – они все имели договоры с Большими Драматическими Складами. Тогда непонятый поэт, случалось, издавал за свой счет превосходную пьесу, но ее никто не читал, и она становилась добычей крошечных насекомых, относящихся к классу паразитов, – должно быть, самых образованных существ той эпохи, если только они прочитывали все, что попадалось им на зуб.

Туда, к Большим Складам, которые специальным декретом были признаны заведением общественной полезности, и направил свои стопы Мишель Дюфренуа, вооруженный рекомендательным письмом.

Контора компании размещалась на Новой улице Палестро в здании старых, давно заброшенных казарм.

Мишеля принял Директор.

То был в высшей степени серьезный человек, проникнутый сознанием собственной важности. Он никогда не смеялся, даже самые удачные остроты производимых в его учреждении водевилей не могли заставить дрогнуть хотя бы один мускул на его лице; по этому поводу говорили, что его и бомбой не проймешь. Служащие ставили ему в упрек то, что он командовал ими на военный манер. Но ведь ему приходилось иметь дело с такой массой людей: сочинители комедий, драматурги, авторы водевилей, либреттисты, не считая двухсот чиновников копировального бюро и легиона клакеров.

Да, администрация поставляла театрам клакеров, в зависимости от характера представлений: эти господа, весьма дисциплинированные, проходили под руководством ученых преподавателей курс обучения тонкому искусству аплодисментов, отвечающих каждому нюансу спектакля.

Мишель подал письмо Кенсоннаса. Директор пробежал его и сказал:

– Месье, я хорошо знаю вашего покровителя и был бы в восторге сделать ему приятное; он говорит о ваших литературных способностях.

– Месье, – скромно начал юноша, – я еще ничего не создал.

– Тем лучше, для нас это – аргумент в вашу пользу, – заметил Директор.

– Но у меня есть кое-какие новаторские идеи.

– Они не нужны, месье, новаторство нас не интересует. Все, что связано с личностью, здесь



должно исчезнуть. Вам придется раствориться в большом коллективе, фабрикующем произведения среднего уровня. Но я не могу ради вас обойти существующие правила: чтобы быть принятым, вам придется сдать экзамен.

- Экзамен? – удивился Мишель.
- Да. Письменное сочинение.
- Хорошо, месье, я в вашем распоряжении.
- Полагаете ли вы себя готовым уже сегодня?
- Когда вам будет угодно, господин Директор.
- Тогда сейчас же.

Директор отдал распоряжение, и вскоре Мишель сидел за столом, на котором его ждали бумага, перо и чернила; ему сообщили тему сочинения и оставили одного.

Как же велико было его удивление! Он ожидал, что ему предложат развить какой-либо исторический сюжет, или резюмировать драматическое произведение, или проанализировать какой-нибудь шедевр из старого репертуара. Наивный ребенок!

На самом деле ему предстояло придумать неожиданную развязку в заданной ситуации, сочинить куплет со сложной игрой слов и каламбур со словом «приблизительно».

Он собрался с мужеством и приложил все свое старание.

В результате сочинение его оказалось слабым и незавершенным; ему не хватало умения, рука, как говорится, не была набита, придуманная им развязка оставляла желать лучшего, куплет звучал слишком поэтично для водевиля, а каламбур не удался вовсе.

И все же, благодаря своему рекомендателю, он был взят на службу с жалованьем в тысячу восемьсот франков. Поскольку наименее неудавшейся частью его экзаменационной работы оказалась развязка, его отправили в Управление комедии.

Большие Драматические Склады были совершенно замечательной организацией.

Она состояла из пяти крупных Управлений:

- 1 высокой и жанровой комедии;
  - 2 собственно водевиля;
  - 3 исторической и современной драмы;
  - 4 оперы и комической оперы;
  - 5 ревью, феерий и официальных церемоний.
- Трагедию раз и навсегда упразднили.

Служащие специализировались по Управлениям; перечисление того, чем они занимались, поможет получить более-менее полное представление о механизме функционирования этого великого учреждения, где все было предусмотрено, расписано и упорядочено.

За тридцать шесть часов оно могло выдать жанровую комедию или же новогоднее ревью.

Итак, Мишелю отвели стол в первом Управлении.

Здесь работали талантливые люди, одни занимались экспозицией пьес, другие развязками, третьи выходами актеров, четвертые их уходами; некоторые трудились в отделе литературных рифм, поставлявшем на заказ целиком стихотворные тексты, иные в отделе бытовых рифм сочиняли простые диалоги по ходу действия.

Был и еще один специализированный отдел, куда направили работать Мишеля: трудившиеся здесь чиновники, кстати весьма искусные, переделывали созданные пьесы, либо попросту переписывая их, либо «перевертывая» персонажи.<sup>72</sup>

Именно так администрация Складов только что добилась колоссального успеха в театре Жимназ, представив ему искусно перевернутую комедию «Полусвет»: баронесса д'Анж превратилась в молоденькую женщину, наивную и неопытную, которая едва не попадает в сети Нанжака; не будь ее подруги, мадам Жален, бывшей любовницы упомянутого Нанжака, его замысел удался бы. Сцена с абрикосами и вся картина этого мира женатых мужчин, чьих жен никогда не было видно, вызывали восторг у зрителей.

Трансформировали также и «Габриель», поскольку правительство по неизвестной мне при-

---

<sup>72</sup> О сюжетах «перевертываемых» пьес см. в примечаниях к главе XIV в конце книги.



чине сочло нужным пощадить жен присяжных поверенных. Жюльен готовится покинуть семейный очаг со своей любовницей, когда вдруг его жена Габриель приходит к нему и рисует такую картину последствий супружеской неверности – скитания в поисках крова, скверное вино, влажные простыни, – что муж отказывается от преступного замысла, соображения высокой морали побеждают и в финале он восклицает:

– О, мать семейства! О, поэт! Я люблю тебя!

Эта пьеса, озаглавленная «Жюльен», получила даже награду Академии.

Постигая секреты сего великого учреждения, Мишель ощущал себя раздавленным, уничтоженным. Но жалованье надо было отрабатывать, и вскоре он получил важное задание.

Ему поручили переделать «Наших близких» Сарду.

Несчастный трудился до седьмого пота. Он мог вообразить развитие действия, в котором участвовали бы мадам Коссад и ее завистливые, эгоистичные и развратные подруги; конечно, доктора Толозана в крайнем случае можно было заменить акушеркой, а в сцене изнасилования сорвать шнур звонка в спальне мадам Коссад могла бы мадам Морис. Но развязка! Она представлялась абсолютно нереальной: Мишель мог себе ломать голову сколько угодно, ему все равно не удалось бы устроить так, чтобы мадам Коссад была убита пресловутой лисой!

Мишелю пришлось капитулировать, признавшись в своей несостоятельности.

Когда Директору доложили о происшедшем, он весьма огорчился, и юношу решили бросить на драму: авось там он сможет чего-нибудь добиться!

Итак, спустя две недели с того дня, как Мишель Дюфренуа был принят на работу в Большие Драматические Склады, его перевели из Управления комедии в Управление драмы.

Управление подразделялось на два направления: большой исторической и современной драмы.

Первое включало в себя два совершенно самостоятельных отдела: один – реальной, серьезной истории, которую слово в слово переписывали у старых авторов, и другой – где история подвергалась вопиющей фальсификации и искажению, в точности по аксиоме, сформулированной видным драматургом девятнадцатого столетия:

«Чтобы сделать истории ребенка, ее надо изнасиловать».

И каких же ей делали детей – абсолютно не похожих на мать!

Среди специалистов исторической драмы самыми главными считались чиновники, изобретавшие неожиданные ходы, особенно для четвертых актов; им передавали едва отесанное произведение, и они неистово его обрабатывали. Равным образом важное положение в администрации занимал ответственный за центральный монолог, так называемую тираду премьерши.

Направление современной драмы вели отделы драмы во фраке и драмы в рабочей блузе; иногда оба жанра перемешивались, но администрация не поощряла подобный мезальянс: это сбивало служащих с наезженных путей, и они могли легко докатиться до того, чтобы вложить в уста щеголя выражения, достойные лишь сброда. А такое было бы чревато вмешательством в компетенцию Хранилища жаргона.

Иные чиновники специализировались на убийствах – ординарных и с отягчающими обстоятельствами, на отравлениях и на изнасилованиях; среди этих последних выделялся мастер, не имевший равных в том, чтобы поставить ремарку «опустить занавес» в точно выбранный момент, – еще секунда опоздания, и актер, если не актриса, рисковал очутиться в весьма сомнительной ситуации.

Этот чиновник – впрочем, отличный малый, пятидесяти лет от роду, отец семейства, почтенный и уважаемый, – зарабатывал добрых двадцать тысяч франков в месяц, все с тем же необыкновенным мастерством воспроизводя сцены насилия вот уже тридцать лет.

Первым заданием Мишеля в новом Управлении стала полная переделка драмы «Амазампо, или Открытие хинина», серьезного произведения, опубликованного в 1827 году.

Работа предстояла нешуточная: требовалось сделать из этой пьесы нечто совершенно современное, а открытие хинина явно было делом далекого прошлого.

Чиновники, которым поручили адаптацию драмы, трудились в поте лица, потому как произведение пребывало в крайне плохом состоянии. Оно так долго пылилось на полках, что эффекты оказались стертыми, сюжетные нити прогнившими, основа – разъеденной. Проще было создать новую пьесу, но указания администрации были категоричными: в момент, когда Париж периодически постигали эпидемии лихорадки, правительство хотело напомнить народу об этом выдающемся открытии. Значит, следовало привести пьесу в соответствие со вкусами дня.

Талант чиновников позволил довести дело до успешного конца; они совершили настоящий подвиг, но бедный Мишель тут был ни при чем, он не предложил ни одной идеи, которая помогла бы созданию сего шедевра, он абсолютно не смог вписаться в ситуацию, его никчемность стала очевидной. Приговор звучал: бездарен.

Директору представили нелестный для юноши рапорт, и, проведя месяц в Управлении драмы, Мишель был понижен до третьего Управления.

– Я ни на что не гожусь, – повторял себе юноша, – у меня нет ни воображения, ни остроты ума. Но все-таки, какой странный способ театрального творчества!

Его охватывало отчаяние, он проклинал это учреждение, забывая, что практика соавторства в девятнадцатом веке уже содержала в зародыше всю эту структуру Больших Драматических Складов.

В этом смысле вклад девятнадцатого века можно даже назвать решающим.

Итак, падение Мишеля от драмы к водевилю свершилось. В новом для него Управлении были собраны самые веселые люди во всей Франции. Ответственный за куплеты соперничал с поверенным за игру слов, сектор пикантных ситуаций и фривольных выражений возглавлялся весьма приятным малым, великолепно работало и отделение каламбуров.

Кстати, существовало центральное бюро по островам, парированию и несуразностям; оно удовлетворяло своей продукцией служебные запросы всех пяти Управлений. Администрация пропускала шутку только в том случае, если ее ни разу не использовали, как минимум, за последние восемнадцать месяцев. По указаниям администрации велась непрерывная работа по пропалыванию словаря, отсюда выдергивали все фразы, галлицизмы и словечки, которые, если их употребить в отличном от принятого значении, становились двусмысленными. В отчете о последней инвентаризации компания зачислила себе в актив семьдесят пять тысяч каламбуров, из них четверть оказались совершенно свежими, а остальные все еще презентабельными. Первые стоили дороже.

Благодаря такой рационализации усилий, огромному потенциалу, согласованности действий третье Управление поставляло просто превосходную продукцию.

Зная о мало почетном результате деятельности Мишеля в двух высших Управлениях, здесь, на производстве водевилей, его позаботились направить на самые легкие операции. С него на сей раз не спрашивалось ни выдвинуть идею, ни придумать остроум; ему выдали завязку, требовалось лишь развить ее.

Речь шла об одном акте для постановки в театре Пале Руаяль; в основе его лежала пока совершенно новая для театра ситуация, содержащая массу беспроектных эффектов. Ее в какой-то мере уже обозначил Стерн в 73-й главе второго тома Тристрама Шенди в эпизоде с Футаториусом.

Один лишь заголовок пьесы уже давал представление об интриге; он звучал так:

«Застегни же свои штаны!...»

Сразу понятно, как много можно извлечь из пикантного положения, в которое попадает мужчина, забывший выполнить самое непреложное требование мужского туалета. Представьте кошмар его друга, когда они оба оказываются в аристократическом салоне, где второй должен представить первого; вообразите замешательство хозяйки дома; добавьте к тому искусную игру актера, способного в любой момент заставить публику с перепуга поверить, что... и забавную панику среди женщин, которые... Были обеспечены все слагаемые колоссального успеха!<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Пьеса была сыграна несколькими месяцами позже и принесла большие сборы (прим. автора).

Так вот, Мишель, оказавшись лицом к лицу со столь оригинальной идеей, в ужасе порвал переданный ему сценарий.

– Нет, – сказал он себе, – ни одной минуты не останусь больше в этой дыре, лучше умереть с голоду!

Он был прав! Что оставалось ему? Докатиться до Управления классической и комической оперы? Но он никогда не согласился бы писать бессмысленные стихи, которых требовали современные музыканты!

Что же еще – опуститься до Управления ревю, до феерий, до официальных церемоний?

Но там надлежало быть прежде всего механиком или художником, а не драматическим автором, надо было уметь предложить и построить новую декорацию, и ничего больше. В этом деле с помощью физики и механики добивались замечательных успехов. Сцену украшали настоящие деревья, чьи корни росли из земли, скрытой в невидимых глазу ящиках, цветники, естественные рощи; там даже возводились всамделишные каменные здания. Океан воспроизводился с помощью настоящей воды, бассейн каждый вечер опорожняли прямо на глазах зрителей, а на следующий день наполняли снова.

Способен ли был Мишель изобрести нечто подобное? Был ли в нем дар воздействия на массы, мог ли он побудить их оставить в кассе театра избыток монет, наполнявших их карманы?

Нет и сто раз нет!

Значит, оставалась лишь одна возможность: уйти.

Что он и сделал.

## **Глава XV**

### **Нищета**



За время пребывания в Больших Драматических Складах, продлившегося с апреля до сентября и ставшего для юноши пятью месяцами великих разочарований и приступов отвращения, Мишель не забывал ни о дядюшке Югенене, ни о своем преподавателе Ришло.

Сколько вечеров, которые Мишель почитал за лучшие, провел он либо у одного, либо у другого. С преподавателем он говорил о библиотекаре; с библиотекарем он говорил не о преподавателе, а о его внучке Люси, и в каких словах, с каким чувством!

– Мои глаза уже не очень хороши, – сказал ему как-то дядя, – но мне кажется, я вижу: ты ее любишь!

– Да, дядюшка, как безумный!

– Люби ее, как безумный, но женись на ней, как мудрец, когда...

– Когда же? – спросил, трепеща, Мишель.

– Когда ты завоюешь себе положение; старайся, если не ради себя, так ради нее!

Мишель отвечал молчанием на подобные замечания; им овладевало слепое чувство ярости.

– А Люси любит тебя? – спросил у Мишеля дядюшка в другой раз.

– Не знаю, – ответил Мишель, – к чему я ей? В сущности, у нее нет никакой причины полюбить меня.

В тот вечер, когда ему был задан этот вопрос, Мишель ощутил себя самым несчастным существом в мире.

Тем временем девушка отнюдь не задавалась вопросом, есть у юноши положение в обществе или нет. Ее это действительно не занимало. Она постепенно привыкала видеть его у себя в доме, слушать его, когда он приходил с визитом, ждать, когда его не было.

Молодые люди болтали обо всем и ни о чем. Старшие им не препятствовали. К чему ме-

шать им любить друг друга! Сами они об этом не говорили, больше беседовали о будущем: Мишель не решался затрагивать жгучую проблему настоящего.

– Настанет день, когда я так полюблю вас! – повторял он.

Люси чувствовала эту тонкость, прекрасно понимала, что ни к чему торопить время.

Зато юноша давал простор поэзии; он знал, что его слушают, понимают, он самозабвенно изливал душу девушке. Рядом с ней он становился действительно самим собой. И тем не менее он не посвящал ей стихов, он был неспособен на это, так как любил ее слишком сильно. Союз между любовью и рифмой был чужд его дару, он не понимал, как можно подчинить чувства требованиям стихотворного размера.

И все же, незаметно для него самого, его сокровенные мысли накладывали отпечаток на все его стихи, и, когда он читал их Люси, она слушала, как если бы сочинила их сама, они, казалось, каждый раз несли в себе ответ на некий тайный вопрос, который она не решалась кому бы то ни было задать.

Однажды вечером, глядя ей прямо в глаза, Мишель произнес:

– День приближается.

– Какой день? – спросила девушка.

– День, когда я полюблю вас.

– О, – произнесла Люси.

И дальше, время от времени, он ей повторял:

– День приближается.

Наконец, одним прекрасным августовским вечером он сказал, взяв ее за руку:

– Он пришел.

– День, когда вы меня полюбите? – прошептала девушка.

– День, когда я вас полюбил, – ответил Мишель.

Когда дядюшка Югенен и г-н Ришло обнаружили, что молодые люди уже перелистали роман до этой страницы, они заключили:

– Хватит читать, закройте книгу, а ты, Мишель, работай за двоих!

Вот и все, чем была отпразднована их помолвка.

Понятно, что в такой ситуации Мишель предпочитал не рассказывать о своих огорчениях. Если у него спрашивали, как идут дела в Больших Драматических Складах, он отвечал уклончиво. Мол, это далеко от идеала, надо привыкнуть, но он справится.

Старшие ни о чем не подозревали. Люси догадывалась о страданиях Мишеля, ободряла его, как могла. Но вела себя с некой сдержанностью, понимая, что она здесь сторона заинтересованная.

Каким же глубоким оказалось отчаяние юноши, в какое уныние он впал, когда обнаружилось, что он снова может положиться лишь на милость случая. Удар был ужасным, жизнь предстала перед ним во всей ее реальности, с ее тяготами, разочарованиями, гримасами. Он ощутил себя более, чем когда-либо, бедным, бесполезным, отверженным.

– Зачем пришел я в этот мир? – подумал он, – ведь меня никто не звал, настало время уйти!

Мысль о Люси удержала его.

Он побежал к Кенсоннасу. Мишель застал друга собирающим такой крошечный чемодан, что даже туалетный несессер мог бы взглянуть на него свысока.

Мишель рассказал, что с ним приключилось.

– Меня это не удивляет, – ответил Кенсоннас. – Ты не создан для работы в коллективе. Что намерен делать?

– Работать в одиночку.

– А, – заметил Кенсоннас, – так ты, значит, смельчак?

– Увидим. Но куда собрался ты, Кенсоннас?

– Я уезжаю.

– Ты покидаешь Париж?

– Да, и даже более того. Французские репутации куются отнюдь не во Франции, это – продукт заграничный, он только импортируется сюда. Я сделаю так, чтобы меня импортировали.



– Но куда ты едешь?

– В Германию. Удивлять любителей пива и трубок. Ты еще услышишь обо мне!

– Так ты уже создал свое сокрушительное оружие?

– Да! Но поговорим о тебе. Ты будешь бороться, это прекрасно. А деньги у тебя есть?

– Несколько сот франков.

– Этого мало. Послушай, во всяком случае я тебе оставляю мою квартиру, за нее заплачено за три месяца:

– Но...

– Если ты не согласишься, деньги будут брошены на ветер. Дальше: у меня накоплена тысяча франков, поделимся.

– Никогда! – вскричал Мишель.

– До чего же ты глуп, сын мой: я должен был бы отдать тебе все, а я делюсь! Так что я тебе еще должен пятьсот франков!

– О, Кенсоннас, – проговорил Мишель со слезами на глазах.

– Ты плачешь? Правильно делаешь. Это обязательная мизансцена для расставания. Не беспокойся, я вернусь. Давай же обнимемся!

Мишель бросился в объятия Кенсоннаса; поклявшись, что не поддастся волнению, музыкант сбежал, дабы не выдать своих чувств.

Мишель остался один. Прежде всего, он решил никому не рассказывать о том, как изменилась его жизнь, – ни дядюшке, ни деду Люси. Зачем давать им новый повод для волнений!

– Я буду работать, я буду писать, – твердил себе юноша, чтобы подкрепить свою волю. – Боролись же другие, кому неблагодарный век отказал в признании. Посмотрим!

На следующее утро он перенес свой скудный скарб в комнату друга и принялся за дело.

Он хотел опубликовать сборник стихотворений, столь же бесполезных, сколь и прекрасных! Юноша трудился не покладая рук, он почти ничего не ел, задумывался, мечтал, ложился спать лишь для того, чтобы еще лучше мечталось.

Мишель больше ничего не слышал о семействе Бутарденов; он избегал проходить по принадлежавшим им улицам, опасаясь, как бы на него снова не наложили руку. Но опекун и не вспоминал о племяннике: избавившись от такой бестолочи, банкир мог испытывать только удовлетворение.

Единственным счастьем, ради которого Мишель покидал свою комнату, были визиты к г-ну Ришло. Там юноша вновь погружался в созерцание девушки, не переставая черпать из этого неистощимого источника поэзии. Как сильно он любил! И надо ли уточнять, как сильно он был любим! Любовь заполняла все его дни, он не мог даже представить, чтобы для жизни требовалось что-то еще.

Тем временем средства, которыми он располагал, мало-помалу иссякали, но об этом он не думал.

Однажды, в середине октября, очередной визит к старому преподавателю весьма огорчил юношу: он нашел Люси опечаленной и осведомился о причине ее грусти.

В Компании Образовательного Кредита начался новый учебный год. Класс риторики, правда, не был ликвидирован, но его судьба висела на волоске: у г-на Ришло оказался один ученик, один-единственный! Случись с ним что-нибудь, какая судьба постигла бы старого, не имеющего иных средств к существованию преподавателя!

Такое могло произойти со дня на день, и тогда профессору риторики грозило увольнение.

– Дело не во мне, – сказала Люси, – меня беспокоит мой бедный дедушка.

– Но разве я не буду рядом? – ответил Мишель.

В том, как он произнес эти слова, было, однако, так мало убежденности, что Люси не решилась взглянуть на юношу.

Мишель ощутил, что его лицо покрывается краской стыда за собственную беспомощность.

Выйдя от г-на Ришло, юноша сказал себе:

– Я обещал быть рядом, надо во что бы то ни стало сдержать обещание. Давай же, за работу!

И он снова засел в своей комнате.

Прошло немало дней. Идеи, одна прекраснее другой, расцветали в воображении молодого человека и облекались под его пером в изящные формы. Наконец книга была завершена, если только такую книгу вообще можно завершить. Он озаглавил свой сборник стихов «Упования» – требовалась поистине героическая закалка, чтобы еще на что-то уповать.

Мишель совершил большой обход издателей. Излишне описывать изначально predetermined сцену, которой сопровождался каждый из этих бессмысленных визитов. Ни один издатель не захотел даже прочесть его рукопись. Напрасны оказались расходы на бумагу, на чернила, как напрасны оказались и его «Упования».

Юношу охватило отчаяние. Его ресурсы шли к концу; он подумал о своем преподавателе, попробовал заняться физическим трудом; но людей повсюду с успехом заменяли машины. Других возможностей не оставалось: в иные времена он продал бы свою шкуру какому-нибудь отпрыску богатой семьи, попавшему под воинский призыв, но в подобного рода сделках больше не было нужды.

Наступил декабрь, месяц, когда надо платить по всем счетам, холодный, грустный, мрачный месяц, когда кончается год, но не горести, месяц, который в жизни почти каждого человека – лишний.

Самое страшное слово французского языка – нищета – запечатлелось на челе Мишеля. Его одежды пожухли и стали мало-помалу спадать, как падают листья деревьев в начале зимы, и никакая весна не смогла бы заставить их потом пустить новые побеги.

Мишель принялся стыдиться самого себя, его визиты к старому преподавателю делались все более редкими, да и к дядюшке тоже. Он ссылаясь в объяснение на важную работу, даже на необходимость отлучек. Его уделом стала бедность. Юноша вызывал бы жалость, если бы чувство жалости в этот век эгоизма не было изгнано с лица планеты.

Зима 1961/62 г. оказалась особенно суровой, она превзошла и холодами, и продолжительностью зимы 1789, 1813 и 1829 годов.

В Париже морозы начались 15 ноября и продолжались без передышки до 28 февраля. Высота снежного покрова достигла 75 сантиметров, а толщина льда в прудах и на многих реках – 70 сантиметров. Пятнадцать дней подряд термометр опускался к отметке двадцать три градуса ниже нуля. Сена оставалась скована льдом в течение сорока двух дней, судоходство остановилось полностью.

Этот ужасный холод охватил всю Францию и большую часть Европы: льдом покрылись Рона, Гаронна, Луара, Рейн. Темза замерзла до Грейв-сэнда, на шесть лье выше Лондона. Лед в порту Остенде был настолько прочным, что по нему проезжали грузовые повозки, а пролив Большой Бельт тоже пересекали в экипажах прямо по льду.

Зима дотянулась холодами даже до Италии, где прошли обильные снегопады, до Лиссабона, где морозило в течение четырех недель, и до Константинополя, который был совершенно отрезан от остального мира.

Устойчивость низких температур послужила причиной роковых несчастий: множество людей замерзло, пришлось отменить всякую часовую службу, люди по ночам падали на улицах за смертью. Улицы сделались непроезжими, было прервано железнодорожное сообщение: мало того, что сугробы снега загромождали рельсы, даже машинистам в их локомотивах грозила опасность смерти от холода.

Страшный ущерб стихийное бедствие нанесло сельскому хозяйству: погибла большая часть виноградников, каштанов, фиговых, тутовых и оливковых насаждений Прованса. Стволы деревьев внезапно лопались по всей длине! Даже растущие на скалах колючие кустарники и вереск погибали под снегом.

Урожай зерна и сена будущего года был полностью погублен.

Можно представить ужасающие страдания бедняков – несмотря на меры, принятые государством, чтобы облегчить их судьбу. Наука со всеми ее ресурсами оказалась беспомощной перед такой бедой. Ученые укротили молнию, подчинили своей воле время и пространство, обратили на службу каждому человеку самые сокровенные силы природы, поставили преграды

наводнениям, покорили атмосферу, но оказались бессильны перед лицом страшного, непобедимого врага – холода.

Общественное милосердие внесло свою лепту, чуть большую, нежели власти, но все же недостаточную; нищета становилась нестерпимой.

Мишель страдал жестоко: цены на топливо взлетели так, что оно стало недоступным, и он не обогревался вовсе.

Вскоре юноша был вынужден свести свое пропитание к строго необходимому минимуму, позволяя себе лишь самые дешевые, самые низкосортные продукты.

В течение нескольких недель он питался бывшим тогда в ходу варевом, называвшимся «картофельный творог»: то была плотная однородная масса из растертого после варки картофеля; но и она стоила восемь солей за фунт.

Бедняга перешел на желудевый хлеб из муки, получаемой из высушенных на солнце и растолченных желудей: его прозвали хлебом недорода.

Но жестокие холода и на него подняли цену до четырех солей за фунт, и это опять было слишком дорого.

В январе, в самый разгар зимы, Мишелю пришлось перейти на хлеб из угля.

Ученые тщательно и с особым вниманием проанализировали состав каменного угля, он оказался настоящим философским камнем: из него получают алмазы, свет, теплоту, минеральные масла и множество других веществ, образующих в различных сочетаниях семьсот органических соединений. Уголь также содержит в большом количестве водород и углерод, два элемента, питающих злаки, не говоря уже об эссенциях, сообщающих вкус и аромат самым лакомым фруктам.

С помощью извлекаемых из угля водорода и углерода некий д-р Фрэнкленд изготовлял хлеб, который продавали по два сантима за фунт.

Признаемся: следовало быть уж очень капризным, чтобы умереть с голоду, – теперь наука такого не допускала.

Потому Мишель и не умер, но что это была за жизнь!

Между тем при всей его дешевизне хлеб из угля все же чего-то стоил, а когда нет буквально никакой возможности заработать, обнаруживаешь, что два сантима содержатся во франке в весьма ограниченном числе.

У Мишеля в конце концов осталась только одна монета. Он некоторое время ее разглядывал, а затем рассмеялся зловещим смехом. От холода ему казалось, что голову сдавливает железный обруч, его рассудок начал поддаваться.

– По два сантима за фунт, – рассуждал он сам с собой, – и по одному фунту в день, я могу протянуть на хлебе из угля еще около двух месяцев. Но поскольку я еще ни разу ничего не дарил моей маленькой Люси, на мою последнюю монету в двадцать солей я куплю ей мой первый букет цветов.

И, будто охваченный безумием, несчастный спустился на улицу.

Термометр показывал двадцать градусов ниже нуля.

## **Глава XVI**

### **Демон электричества**



Мишель проходил молчаливыми улицами; снег смягчал звук шагов редких прохожих, экипажи не ездили, было темно.

– Который может быть час? – подумал юноша.

– Шесть часов, – ответили ему часы больницы Сен-Луи.

– Вот часы, чье единственное предназначение – измерять страдания, – заключил Мишель.

Он продолжал свой путь, движимый навязчивой идеей, мечтая о Люси; иногда юноше не удавалось удержать в своем воспаленном воображении ее образ: он старался помимо воли. Мишель был голоден, даже не подозревая об этом. Привычка.

В морозном, обжигающем воздухе небо блистало бесподобной красотой, взгляд терялся в бесконечности великолепных созвездий. Не отдавая себе в том отчета, Мишель созерцал встававшие на восточном горизонте три звезды, образующие пояс великолепного Ориона.

От улицы Приют красавиц до Печной<sup>74</sup> путь неблизкий. Надо пересечь почти весь старый Париж. Мишель пошел самой короткой дорогой, он направился сначала на улицу Храмового Предместья, спустился по ней до пересечения с улицей Водокачки, затем по прямой, улицей Тюрбиго, вышел к Центральному рынку.

Оттуда за несколько минут он добрался до Пале Руаяль, в чьи галереи он вошел через пышный портал в конце улицы Вивьен.

Сад внутри был печальным и пустынным; его целиком покрывал гигантский белый ковер, на котором не виднелось ни пятнышка, ни тени.

---

<sup>74</sup> Теперь улица Фальгьер.

– Жалко топтать его, – вздохнул Мишель. Он даже не замечал, как продрог.

В конце галереи Валуа юноша обнаружил ярко освещенный цветочный магазин. Он поспешил зайти туда и очутился в настоящем зимнем саду. Редкие растения, зеленеющие кустарники, букеты свежераспустившихся цветов, чего там только не было.

Внешний вид горемыки настораживал: директор заведения не мог понять, что делает здесь, в богатом цветнике, так бедно одетый молодой человек. Контраст был вопиющим, и Мишель сразу его почувствовал.

– Что вам угодно? – спросил недружелюбный голос.

– Сколько вы можете дать мне цветов на двадцать солей?

– На двадцать солей? – вскричал торговец тоном высшего презрения. – В декабре месяце!

– Хотя бы один цветок, – промолвил Мишель.

– Ладно, подадим ему милостыню! – сказал себе торговец.

И он протянул молодому человеку букет полуувядших фиалок. Но двадцать солей взял.

Мишель вышел. Потратив последние деньги, он испытывал странное чувство, полное иронии по отношению к самому себе.

– Вот я и без единого соля, – воскликнул он, улыбаясь одними губами, в то время как взгляд его оставался суровым. – Ладно! Зато моя маленькая Люси будет довольна. Какой красивый букет!

Он подносил к лицу горстку завядших цветов и упивался их отсутствующим ароматом.

– Она будет так счастлива – фиалки среди жестокой зимы! Вперед!

Юноша добрался до набережной, пересек Сену по Королевскому мосту, углубился в квартал Инвалидов и Военного училища (этот квартал свое название сохранил) и спустя два часа после того, как покинул улицу Приют красавиц, оказался на Печной.

Сердце его билось учащенно, он не ощущал ни холода, ни усталости.

– Я уверен, она ждет меня! Уже так давно мы не виделись!

Тут вдруг Мишеля коснулось сомнение:

– Не могу же я все-таки прийти в момент, когда они обедают, это было бы неприличным! Им пришлось бы меня приглашать! Который сейчас час?

– Восемь часов, – ответила церковь Святого Николая, чей шпигель четко рисовался на фоне чистого неба.

– О, – продолжал размышлять юноша, – в этот час все уже отообедали!

Он направился к дому № 49, тихонько постучал в дверь: он хотел сделать сюрприз.

Дверь отворилась. В момент, когда Мишель бросился вверх по лестнице, его окликнул консьерж.

– Куда это вы направились? – спросил он юношу, меряя того глазами с ног до головы.

– К месье Ришло.

– Его здесь нет.

– То есть как его здесь нет?

– Его здесь больше нет, если вам так больше нравится.

– Месье Ришло здесь больше не живет?

– Нет, уехал!

– Уехал?

– Выставлен за дверь!

– За дверь? – вскричал Мишель.

– Он был из тех типов, у которых отродясь не бывает в кармане и соля, когда приходит момент платежа. У него описали имущество.

– Описали имущество, – повторял Мишель, дрожа с ног до головы.

– Описали имущество и выгнали.

– Куда? – спросил юноша.

– Понятия не имею, – ответил государственный чиновник, принадлежавший, учитывая квартал, лишь к девятому классу.

Мишель, сам не ведая как, очутился на улице. Он чувствовал, что у него от ужаса волосы



встают дыбом, а голова начинает кружиться. На него было страшно смотреть.

– Описали имущество, – повторял он на бегу, – выгнали! Значит, ему холодно, он голоден.

И несчастный юноша, воображая себе, как, должно быть, страдают все, кого он любит, сам ощутил пронизывавшую его острую боль от голода и холода, о чем, было, забыл.

– Где они? Чем живут? У дедушки не осталось ни соля, значит, ее уволили из коллежа, ее ученик, наверное, его бросил, негодяй, мерзавец! Если бы я только его знал...

– Где они? – беспрестанно повторял Мишель, – где они? – вопрошал он какого-нибудь спешащего прохожего, принимавшего юношу за помешанного.

– Она, может быть, подумала, что я покинул ее в несчастье!

При этой мысли Мишель почувствовал, как у него подгибаются колени, он едва не упал на слежавшийся снег, но отчаянным усилием удержался на ногах. Он не был способен идти, но пустился бегом, ибо нестерпимая боль иногда вынуждает человека совершать невозможное.

Он бежал, куда глаза глядят, без цели и мысли, и вскоре наткнулся на здание Образовательного Кредита. В панике юноша бросился прочь.

– О, науки! – восклицал он, – о, промышленность!

Мишель повернул обратно. В течение часа он плутал посреди приютов и больниц, струдившихся в этом уголке Парижа: приютов Больных Детей, Юных Слепых, Марии-Терезии, Подкидышей, Родильного Дома, больниц Миди, Лярошфуко, Кошен, Лурсин. Ему никак не удавалось выбраться из этого квартала страданий.

– Не хочу же я попасть в одно из этих заведений, – твердил он себе, а некая неведомая сила будто толкала его туда.

Он узнал ограду кладбища Монпарнас.

– Скорее сюда, – подумал Мишель.

Как пьяный, он бродил по этому полю мертвых.

Наконец, сам не зная как, он выбрался на Севастопольский бульвар в его левобережной части,<sup>75</sup> миновал Сорбонну, где еще читал с огромным успехом свой курс вечно пылкий, вечно молодой г-н Флуренс.

Несчастный безумец оказался наконец на мосту Сен-Мишель; уродливый фонтан был целиком скрыт под коркой льда и много выигрывал, будучи невидимым.

По набережной Августинцев Мишель дотащился до Нового моста и оттуда рассеянным взором стал вглядываться в Сену.

– Неудачное время для отчаявшихся, – воскликнул он, – нельзя даже утопиться!

Действительно, река была полностью скована льдом, экипажи могли пересекать ее без опаски. Днем на реке торговали в многочисленных лавчонках, а вечерами там и сям вспыхивала веселая иллюминация.

Плотина на Сене почивала под сугробами снега. В этом замечательном сооружении воплотилась великая идея, высказанная Араго в девятнадцатом веке: перекрыв реку, Париж располагал в период низкой воды мощностью в четыре тысячи лошадиных сил. Эта энергия ничего не стоила и производилась бесперебойно.

Турбины поднимали на высоту пятидесяти метров десять тысяч квадратных дюймов воды, а каждый дюйм означал двадцать кубометров воды за сутки. Посему жители города платили за воду в сто семьдесят раз дешевле, чем раньше; они получали тысячу литров за три сантимы и имели право расходовать пятьдесят литров в день.

Более того, поскольку вода в трубах была всегда под давлением, улицы поливались из шлангов, а на случай пожара каждое здание располагало достаточным количеством воды под очень высоким напором.

Перебираясь через плотину, Мишель различил глухой шум турбин Фурнейрона и Нешлена, безостановочно враставшихся под ледяным панцирем. Остановившись там в нерешительности, – должно быть, им владела идея, в которой он не отдавал себе отчета, – он повернул назад и ока-

---

<sup>75</sup> В 1865 году левобережная часть Севастопольского бульвара была переименована в бульвар Сен-Мишель.

зался перед зданием Института.<sup>76</sup>

Ему вдруг вспомнилось, что во Французской Академии не осталось больше ни одного литератора; что по примеру Лапрада,<sup>77</sup> обозвавшего в середине девятнадцатого века Сент-Бёва козьявкой, позже два других академика наградили друг друга именем маленького гениального человека, описанного Стерном в Тристраме Шенди, том 1, глава 21, стр. 156 (издание Леду и Тере, 1818 год); поскольку литераторы решительно становились все менее воспитанными, в Академию решили принимать лишь отпрысков знатных фамилий.

При виде этого уродливого купола, разукрашенного желтыми полосами, бедняге Мишель стало дурно, и он пошел вверх по Сене. Небо над головой было исчерчено электрическими проводами; перекинутые с одного берега на другой, они свили нечто вроде огромной паутины, тянувшейся до Префектуры полиции.

Он побежал, одинокая фигурка на замерзшей реке, Луна бросала ему под ноги густую тень, повторявшую его движения с многократным увеличением.

Он прошел Часовой набережной, миновал Дворец Правосудия; пересек реку по Меняльному мосту, чьи своды были заполнены огромными льдинами, оставил справа от себя Торговый Суд, мост Парижской Богоматери, вышел на мост Реформы,<sup>78</sup> длинный пролет которого начинал прогибаться под собственной тяжестью, и вернулся на набережную острова Сите.

Юноша очутился у входа в морг, открытый день и ночь как для мертвых, так и для живых, машинально вошел туда, будто искал дорогие ему существа. Его взгляд остановился на трупах – застывших, зеленоватых, вздувшихся, расprostертых на мраморных столах. В углу он заметил электрический аппарат, возрождавший к жизни утопленников, в которых еще хотя бы чуть-чуть теплилась жизнь.

– Опять электричество! – вскричал Мишель.

И бросился бежать.

Собор Парижской Богоматери был на месте. Его витражи сияли, слышались торжественные песнопения. Мишель вошел в древний храм. Вечерняя месса шла к концу. Внутри, после уличной темноты, освещение ослепляло.

Алтарь пылал электрическими огнями, лучи того же происхождения вырывались из дароносицы, которую поднимала рука священника!

– Опять электричество, – восклицал несчастный, – даже здесь!

И он опять бежал. Но не настолько быстро, чтобы не услышать, как заревел орган, приводившийся в действие сжатым воздухом, который поставляла Компания Катакомб.

Мишель терял рассудок, ему казалось, что демон электричества гонится за ним. Юноша пошел Гревской набережной,<sup>79</sup> углубился в лабиринт пустынных улиц, оказался на Королевской площади,<sup>80</sup> откуда статуя Виктора Гюго вытеснила фигуру Людовика XV; перед ним открылся новый бульвар Наполеона IV, простиравшийся до площади, посреди которой Людовик XIV устремляется галопом к Французскому Банку.<sup>81</sup> Обогнув ее, Мишель двинулся улицей Богоматери – Покровительницы Побед.

На фасаде стоявшего на углу Биржевой площади дома он увидел мраморную доску с высеченной золотыми буквами надписью:

---

<sup>76</sup> Французский Институт – собрание пяти Академий.

<sup>77</sup> Французский поэт, современник Жюль Верна.

<sup>78</sup> Теперь Аркольский мост.

<sup>79</sup> Теперь Ратушная набережная.

<sup>80</sup> Теперь Вогезская площадь, на ней стоит памятник Людовику XIII.

<sup>81</sup> Площадь Побед.

### Памятник истории.

На четвертом этаже сего дома Викторьен Сарду жил с 1859 по 1962 год.

Наконец Мишель очутился перед Биржей, кафедральным собором сегодняшнего дня, храмом из храмов; циферблат электрических часов показывал без четверти двенадцать.

– Ночь остановилась, – пробормотал про себя Мишель.

Он поднялся к бульварам. Электрические канделябры испускали ослепительно белый свет, а на ростральных колоннах сверкали прозрачные афиши, по которым бежали огненные буквы электрических рекламных объявлений.

Мишель закрыл глаза. Он смешался с изрядно густой толпой, валившей из дверей театров, добрался до площади Оперы, где его глазам предстала элегантная позолоченная толчея богатеев, бросавших вызов холоду под защитой кашемира и мехов. Он миновал длинную очередь газовых экипажей, а затем скользнул в улицу Лафайет.

Она вытянулась прямой линией в полтора лье длиной.

– Надо бежать от всех этих людей, – сказал себе юноша.

И он бросился вперед, спотыкаясь, падая, снова поднимаясь; в нем все наболело, но он ничего не чувствовал, его поддерживала какая-то сторонняя сила.

Чем дальше он уходил, тем больше сгущались вокруг него тишина и запустение. Вдалеке, однако, можно было различить гигантское зарево света. До Мишеля доносился страшный, ни с чем не сравнимый шум.

Вопреки всему юношу продолжало нести вперед, и вскоре его накрыл оглушительный грохот, вырывавшийся из огромного зала, где свободно размещалось десять тысяч человек; на фронте Мишель прочел написанные пылающими буквами слова:

### Электрический концерт.

Да, электрический концерт! А какие инструменты! Двести фортепьяно, соединенных между собой по венгерскому способу с помощью электрического тока, звучали одновременно под рукой одного-единственного артиста! Фортепьяно мощностью в двести фортепьянных сил!

– Бежать, бежать! – воскликнул несчастный, преследуемый неотвязным демоном. – Прочь из Парижа! Вне Парижа я, может быть, найду покой!

Теперь он тащился чуть ли не ползком. Через два часа этой борьбы с собственной слабостью Мишель добрался до водоема Виллетт, но там, думая выйти к порту Обервилье, заблудился и пошел нескончаемой улицей Сен-Мор; еще через час он огибал тюрьму для малолетних преступников, что на углу улицы Рокетт.<sup>82</sup>

Там – зловещее зрелище! – возводили эшафот, готовясь к утренней казни.

Помост быстро вырастал благодаря спорой работе подпевавших себе плотников.

Мишель хотел бежать от этого зрелища, но споткнулся об открытый ящик. Поднимаясь, он увидел в нем электрическую батарею.

Сознание вернулось к нему, он понял! Теперь не рубили голов. Убивали электрическим зарядом. Так лучше имитировалось Правосудие Небес.

Мишель испустил отчаянный крик и скрылся в темноте.

На церкви Святой Маргариты часы пробили четыре раза.

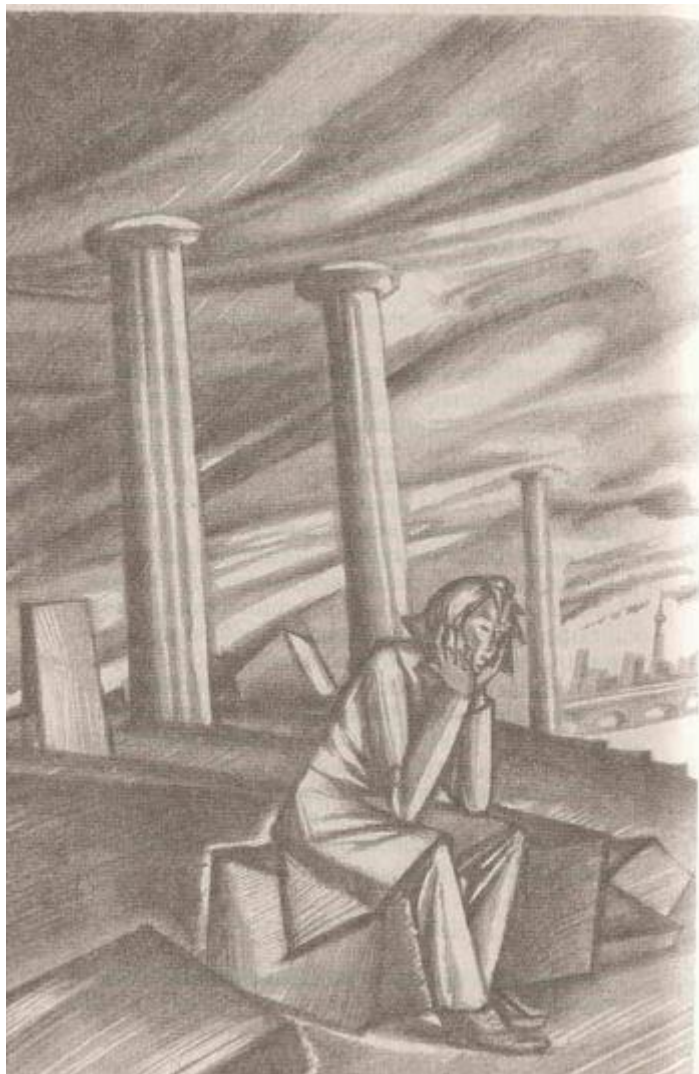
## Глава XVII

*Et in pulverem reverteris*

(И ты вновь обратишься в прах)

---

<sup>82</sup> «Рокетт» (фр. сурепка) – так называлась тюрьма, давшая название улице.



Что делал бедняга оставшуюся часть этой ужасной ночи? Куда случай направил его шаги? Блуждал ли он, не находя выхода из этого зловещего города, из этого распроклятого Парижа? У нас нет ответа.

Очевидно, он беспрестанно кружил по бесчисленным улочкам, обступавшим кладбище Пер-Лашез; ведь старинный Город мертвых оказался теперь посреди столицы, которая простиралась на восток до фортов Обервилье и Роменвиль.

Как бы то ни было, в час, когда зимнее солнце поднялось над одетым в белое городом, Мишель очутился на кладбище.

Ему больше не хватало сил думать о Люси; мысли замерзали; юноша напоминал привидение, бродящее среди могил, но не чувствовал себя посторонним, он был здесь как дома.

Поднявшись по центральной аллее, он свернул направо во всегда сырые тропинки нижнего кладбища. Нагруженные снегом деревья лили слезы на сверкающие на солнце могилы, и лишь на стоящих вертикально надгробных камнях, где снегу не удержаться, можно было прочесть имена похороненных.

Вскоре Мишель вышел к памятнику Элоизе и Абеляру;<sup>83</sup> он лежал в руинах, только три колонны, служившие опорой полуобрушившемуся архитраву, еще держались прямо, подобно Грекостасису на Римском Форуме.

Взгляд Мишеля словно застыл. Он смотрел, не видя, на имена Керубини, Габенека, Шопена, Массе, Гуно, Рейера<sup>84</sup> – всех постояльцев квартала, отведенного музыке, и от нее, возможно,

---

<sup>83</sup> Пьер Абеляр – французский теолог и схоласт XI–XII вв., прославившийся страстной любовью к Элоизе. Их трагическая судьба послужила основой для многих литературных произведений.

<sup>84</sup> В этой главе Жюль Верн приводит без различия имена людей, уже умерших к моменту написания романа, и

и погибших, и шел мимо, не задерживаясь.

Он миновал надгробие, в камне которого было высечено одно имя, без дат, без изъявлений сожаления, без украшений – имя, чтимое в веках: Ларошфуко.

Затем юноша очутился в поселении аккуратных, как голландские домики, могил, с отполированными с внешней стороны решетками, со ступеньками, оттертыми пемзой. Туда тянуло, войти.

– И главное, остаться, – подумал Мишель, – упокоиться там навеки.

В могильных памятниках воплотились все архитектурные стили: греческий, романский, этрусский, византийский, ломбардский, готический, Ренессанс и двадцатый век, но всех объединяла идея равенства: единение олицетворяли усопшие, одинаково обратившиеся в прах, будь то под мрамором, под гранитом или под деревянным крестом.

Молодой человек продолжал восхождение, постепенно приближаясь к вершине похоронного холма. Раздавленный усталостью, он облокотился о мавзолей Беранже и Манюэля; этот каменный конус без резьбы и без скульптур еще возвышался там, подобно пирамидам Гизы, укрывая под собой двух друзей, которых объединила смерть.

В двадцати шагах поодаль их покой охранял генерал Фуа, задрапированный в мраморную тогу; казалось, он и по сей день защищал их.

Бедолаге вдруг пришла в голову мысль поискать знакомые имена. Но из тех, чьи могилы пощадило время, ни одно ничего не говорило ему. А многие знаменитые имена уже нельзя было прочесть – эмблемы исчезли, сплетенные руки оказались разъединены, гербы стерты – сами могилы в свою очередь постигла смерть.

Мишель продвигался все дальше, сбиваясь с пути, возвращаясь, прислоняясь к железным решеткам; ему попадались то Прадье, чья мраморная Меланхолия рассыпалась в пыль, то Дезожье в бронзовом медальоне, не похожий сам на себя, то монумент, воздвигнутый Гаспару Монжу его учениками, то полузакрытая вуалью фигура плакальщицы Этекса, все еще припадавшей к могиле Распайя.

Поднявшись выше, он прошел рядом с великолепным монументом, отличавшимся чистотой стиля и красотой мрамора, фриз которого опоясывал хоровод полуобнаженных танцующих на бегу девушек. Мишель разобрал надпись:

КЛЕРВИЛЮ

благодарные сограждане

Юноша не остановился. Чуть поодаль он увидел незавершенное надгробие над могилой Александра Дюма, того, кто всю жизнь собирал деньги на чужие могилы!<sup>85</sup>

Теперь Мишель оказался в богатом квартале, чьи обитатели еще могли позволить себе роскошь великолепных памятников. Имена женщин из высшего общества как ни в чем не бывало чередовались с именами знаменитых куртизанок, тех, что сумели сэкономить себе на мавзолеях для последнего упокоения: здесь попадались сооружения, которые можно было принять за дома сомнительной репутации. Дальше шли могилы актрис, на чьи плиты тщеславные поэты возлагали полные слез стихи.

Наконец Мишель дотащился до другого края кладбища, где в театральной гробнице почивал вечным сном Деннери Великолепный. Рядом простой черный крест венчал могилу Барьера. Здесь, как на уголке Вестминстера,<sup>86</sup> назначали свидание друг другу поэты, здесь Бальзак выглядывал из каменного савана, все еще дожидаясь собственной статуи, здесь Делавинь, Сувестр, Бера, Плувье, Банвиль, Готье, Сен-Виктор и сотни других ушли в небытие, как ушли в небытие и

---

еще живших, далеко не все из которых были впоследствии похоронены на Пер-Лашез.

<sup>85</sup> А. Дюма много помогал писателям и художникам, организуя для них сбор средств, в том числе и на похороны.

<sup>86</sup> В Вестминстерском аббатстве в Лондоне захоронены короли и выдающиеся люди Англии.



их имена.

Чуть ниже, со своей погребальной стеллы изуродованный Альфред де Мюссе созерцал, как гибнет рядом с ним плакучая ива, к которой он обращался в своих самых томных и самых печальных стихах.

В это мгновение к бедняге вернулось сознание. Букет фиалок, который он прижимал к груди, упал; Мишель подобрал его и, заплакав, возложил на могилу забытого поэта.

Он поднимался выше, еще выше, вспоминая, страдая, пока за кипарисами и ивами ему не открылся Париж.

Вдали возвышался Мон-Валерьен, направо – Монмартр, все еще ожидавший своего Парфенона, который афиняне обязательно воздвигли бы на этом акрополе,<sup>87</sup> налево – Пантеон, Собор Парижской Богоматери, Святая Часовня, Инвалиды, а еще дальше – маяк Гренельского порта, вздымавший свой острый шпиль на высоту пятисот футов.

Внизу расстился Париж, его громоздящиеся друг на друга сто тысяч домов, среди которых торчали окутанные дымом трубы десяти тысяч заводов.

Прямо под ногами раскинулось нижнее кладбище. Сверху скопления его могил выглядели небольшими городами со своими улицами, площадями, домами, вывесками, церквями и соборами – последними пристанищами самых тщеславных.

А сверху над головой качались несущие громоотводы воздушные шары, лишавшие молнию всякого шанса поразить беззащитные дома и тем спасавшие Париж от ее губительного гнева.

Мишель ощутил страстное желание обрезать удерживавшие их канаты и открыть город все сметающему на пути огненному потоку.

– О, Париж! – вскричал он, полный гнева и отчаяния.

– О, Люси, – прошептал он, теряя сознание и падая в снег.

## **КОНЕЦ**

**1863**

## **Послесловие От первооткрывателя романа**

### **История рукописи**

«Париж в XX веке»: для специалистов-«жюльверноведов» это название стало, можно сказать, мистическим. Роман, написанный Жюлем Верном в молодые годы на тему, априорно вызывающую жгучий интерес, – и оставшийся неизданным! За неимением рукописи и в отсутствие каких бы то ни было намеков на ее содержание можно было усомниться в самом существовании романа, соответственно рискованным было и включать его в жюльверновскую библиографию, если бы сын писателя из предосторожности не счел нужным обнародовать перечень неопубликованных произведений отца.

Действительно, после кончины Жюля Верна 24 марта 1905 г. одной из первых забот Мишеля Верна стало как можно скорее предать гласности опись оставшихся неизданными сочинений писателя. Целью этого шага, предпринятого, вероятнее всего, по совету Этцеля-сына,<sup>88</sup> было отвести возможные обвинения в том, что он, Мишель Верн, сам написал вещи, которые будут

---

<sup>87</sup> Позже на этом месте была построена базилика Сакре-Кёр (Святого сердца Господня).

<sup>88</sup> Жюль Этцель, сын Пьера-Жюля Этцеля, издателя и друга Жюля Верна.

впоследствии опубликованы за подписью, уже ставшей столь знаменитой.

Вот почему Мишель Верн 30 апреля 1905 г. направил письмо журналисту Эмилю Берру, который, кстати, был знаком с писателем. Письмо, содержащее подробный список всех неизданных произведений Жюль Верна, было помещено 2 мая в «Фигаро».<sup>89</sup> Интересующий нас пассаж письма М. Верна звучит так: «Посмертные произведения моего отца делятся на три группы... Вторая группа содержит два сочинения, также предшествующих, по всей видимости, „Необыкновенным путешествиям“, но интересных в том смысле, что как бы представляют собой прелюдию к ним. Одно озаглавлено „Путешествие в Англию и Шотландию“, <sup>90</sup> другое – „Париж в XX веке“...»

Биографы Жюль Верна часто ссылались на это последнее сочинение, хотя сами никогда не видели его. Например, в списке «Произведений, оставленных Жюлем Верном», который приводится в основательной биографии, написанной амьенским другом писателя Шарлем ром,<sup>91</sup> «Париж в XX веке» упомянут среди неопубликованных вещей, предшествующих появлению «Пяти недель на воздушном шаре». Точно так же в первом номере «Бюллетеня Жюльверновского общества» (ноябрь 1935 г.) крупный специалист по творчеству писателя Корнелис Эллинг помещает «Париж в XX веке» в ряд неизданного при жизни Ж. Верна.

Тем бы дело и ограничилось, если бы мне не посчастливилось в 1986 году обнаружить в частных архивах наследников издателя Этцеля черновик письма, которым он оповещал Жюль Верна об отказе опубликовать «Париж в XX веке». Письмо раз и навсегда подтверждало тот факт, что роман действительно существовал, даже если он и взаправду исчез: ведь его не было среди рукописей, подаренных семьей Верн городу Нанту в 1980 году.

Рукопись нашли в сейфе Мишеля Верна, ключи от которого были утеряны и который считался пустым. Теперь роман является публике и одновременно бросает новый свет на все литературное наследие его автора...

### **Отказ Этцеля**

Пьер-Жюль Этцель, чей дар распознать шедевр бесспорен (он единственный из всех парижских издателей, к которым обращался Жюль Верн, кто согласился опубликовать «Пять недель на воздушном шаре»), отверг «Париж в XX веке». В письме, направленном им Жюлю Верну, очевидно, в конце 1863-го или же в самом начале следующего года, чрезвычайно важном для понимания его решения, содержатся критические замечания и аргументы, объясняющие этот отказ. Их немало и в карандашных пометках, сделанных Этцелем на полях рукописи. Но если письмо содержит формальный отказ, то часть пометок на полях, как представляется, предназначалась к тому, чтобы подправить, улучшить текст с целью его издания, другие же свидетельствуют о твердой решимости не публиковать его. Не воспроизводя полностью все замечания Этцеля, ограничусь упоминанием наиболее значительных из них.

С первой же фразы Этцель поправляет писателя: ему не нравятся неологизмы Жюль Верна. Заголовок первой главы «Генеральная Компания Образовательного Кредита» вызывает у издателя такое замечание (относящееся к слову «образовательный»): «неприятное слово,<sup>92</sup> плохо задуманное – особенно для начала. Оно как шлагбаум. Походит на словечки Фурье. В начале надо избегать неологизмов».

Зачастую замечания издателя говорят о том, что роман, на его взгляд, лишен интереса: «1-я глава не вдохновляет», «мне это не нравится», «по-моему, это не развлекает», «эти выкрутасы

---

<sup>89</sup> И во многих других газетах.

<sup>90</sup> Опубликовано в Париже в 1989 г. издательством «Шерш миди» под названием: «Путешествие задом наперед по Англии и Шотландии».

<sup>91</sup> Шарль Лемир, «Жюль Верн...», Париж, 1908.

<sup>92</sup> По-французски звучит похоже на «обструкционистский».

неудачны», «я нахожу этот обзор детским», «все это надуманно. Здесь нет ни меры, ни вкуса». В одном случае реакция Этцеля оказывается более резкой. Заглавие, которое Жюль Верн дает одной из пьес, предназначенных к переработке служащими «Больших Драматических Складов», – «Застегни же свои штаны», – заставляет ошеломленного издателя пометить: «Вы с ума сошли». Этцель также указывает, что Верн слишком часто использует формулу «он обронил» вместо «он сказал»<sup>93</sup> и замечает (имея в виду главного героя Мишеля): «он все время роняет!».

До сих пор шли замечания, позволяющие предположить, что издатель стремится улучшить рукопись молодого писателя. Но иные ремарки говорят скорее об отказе принять роман: «Мой дорогой друг, эти длинные диалоги не выглядят так, как они вам представляются. Они кажутся нарочитыми, обстоятельства их не оправдывают. Такой прием хорош у Дюма, в книгах, полных приключений. Здесь он утомляет»; «Все это – журналистика самого низкого пошиба. Это недостойно вашего замысла». И еще: «Ваш Мишель с его стихами – глупый индюк. Разве не может он таскать тяжести и притом оставаться поэтом?». «При всей моей доброй воле эта критика, эти гипотезы не представляют интереса»; «нет, нет, это не получилось. Потерпите двадцать лет, прежде чем делать такую книгу. Вы и ваш Мишель, желающий жениться в девятнадцать лет».

Кстати, эта последняя фраза стала пророческой, ибо сын самого Жюль Верна, звавшийся Мишелем, как и герой «Парижа в XX веке», освободился от родительской опеки в девятнадцать лет, чтобы жениться на актрисе! И еще одно замечание Этцеля, более резкое: «сегодня в ваши пророчества не поверят» и, наконец, что хуже всего с точки зрения издателя, – «этим не заинтересуются».

На полях рукописи есть также пометки самого Жюль Верна вроде «развить», «детализировать»; они позволяют предположить, что сначала писатель предполагал поработать над рукописью с целью ее публикации.

Тем не менее отказ был столь бесповоротным, что Жюль Верн не делал более попыток предлагать роман Этцелю. Отказ сформулирован в письме издателя без даты, относящемся, вероятно, к концу 1863-го или же началу 1864 года. Вот выдержки из него:<sup>94</sup>

*«Мой дорогой Верн, не знаю, что я дал бы, лишь бы не писать вам сегодня. Вы предприняли невозможное – и так же, как и ваши предшественники в такого рода делах, – не сумели с этим справиться. Это как земля и небо по сравнению с „Пятью неделями на воздушном шаре“. Если бы вы перечитали себя через год, вы согласились бы со мной. Это – плохая журналистика, причем на неудачный сюжет.*

*Я не ожидал чего-то совершенного; я повторяю, я знал, что вы взялись за невозможное, но я ожидал лучшего. Вы не даете решения ни одной серьезной проблемы будущего, все ваши критические замечания повторяют уже сделанные и многократно повторенные выпады – и если я чему и удивляюсь, так тому, что вы на едином порыве, как бы побуждаемый высшей силой, создали такую тяжелую, столь неживую вещь...*

*...Я в отчаянии – в отчаянии от того, что должен вам здесь написать, – я счел бы несчастьем для вашей репутации публикацию вашей работы. Это дало бы основание считать воздушный шар удачной случайностью. Но у меня есть „Капитан Гаттерас“, и я знаю, что случайность, напротив, – вот эта неудавшаяся вещь, но публика бы о том не знала...*

*О вещах, в которых я считаю себя компетентным, – о делах литературных, здесь ничего нового: вы говорите как светский человек, слегка соприкоснувшийся с этим миром, как побывавший на первых представлениях и с удовлетворением открывающий для себя то, что стало уже общим местом. И это так, будь то в по-*

<sup>93</sup> Вместо «il cht» – «il fit».

<sup>94</sup> Из коллекции Гондоло делла Рива, Турин. Письмо, опубликованное в коллективном труде «Издатель и его век. Пьер-Жюль Этцель (1814–1886)», Сен-Себастьян, изд-во ACL, 1988, стр. 118–119.

*хвалах или же в критике. Об этом надо сказать.*

*Вы не созрели для этой книги, вы ее переделаете через двадцать лет... Ничто в ней не коробит ни мои идеи, ни мои чувства. Меня коробит только литературная сторона – буквально в каждой строке вы недостойны самого себя.*

*Ваши Мишель – простофиля, другие не забавны, а часто неприятны.*

*Не прав ли я, мое дорогое дитя, в том, что обращаюсь с вами как с сыном, жестоко, но потому, что хочу вам добра?*

*Неужели это восстановит вас против того, кто решился так строго предупредить вас?*

*Надеюсь, что нет, хотя знаю, что не раз ошибался, рассчитывая на способность людей воспринять искренний совет...»*

Имеющийся в нашем распоряжении текст – черновик, сохранившийся в личном архиве издателя Этцеля; никто не может знать, были ли в него внесены изменения перед отправкой Жюлю Верну. К тому же ответ Жюля Верна – если он вообще был – утерян, и о реакции писателя на это письмо ничего неизвестно. Но зная, как Жюль Верн в целом воспринимал в период 1863–1870 годов замечания Этцеля,<sup>95</sup> я могу предположить, что он волей-неволей проглотил этот отказ, особо не жалуясь.

Как отнестись сегодня к отказу издателя? Однозначно ответить трудно, поскольку мы теперь располагаем двумя элементами ответа, которых не могло быть у Этцеля.

Во-первых, конечно, мы знаем, кем стал Жюль Верн после публикации «Пяти недель на воздушном шаре» (и, следовательно, все составляющие жюльверновского мира, уже присутствующие в «Париже в XX веке», нам в высшей степени интересны, они завораживают); во-вторых, нам знаком реальный Париж XX века, и, сравнивая реальность с удивительными предвосхищениями молодого Верна, мы не можем не поражаться.

Верно, однако, и то, что Этцель хорошо знал своего читателя, а также был в курсе аналогичных попыток, предпринятых другими писателями до Жюля Верна (напомним: в письме Верну издатель отмечает: «Вы предприняли невозможное, и, так же как и ваши предшественники в такого рода делах, не сумели с этим справиться»).

Не следует забывать, что «Париж в XX веке» адресовался взрослому читателю и отнюдь не должен был восприниматься в качестве забавной шалости, подобной тем, что несколькими годами позже стал публиковать Альбер Робидо («Двадцатый век», «Электрическая жизнь» и т. п.). Персонажам Жюля Верна в этой книге часто недостает убедительности (этот недостаток будет нередко встречаться у героев Жюля Верна на протяжении всей его литературной карьеры). Очевидно, Этцель счел, что ему представлено произведение, претендующее на подлинность, серьезность, даже трагичность, притом что автору на сей раз, кажется, не хватило вдохновения, или же, во всяком случае, произведение, не отвечавшее тем планам, которые издатель строил для своего молодого автора.

### **Дата создания**

Как мы упоминали выше, Мишель Верн относил создание «Парижа в XX веке» к периоду, предшествовавшему встрече отца с Этцелем. Получается, что Жюль Верн после публикации «Пяти недель на воздушном шаре» (17 января 1863 г.) предложил издателю загодя написанную вещь.

Однако почитаем внимательно письмо Этцеля с упомянутым отказом, которое явно было написано после публикации «Пяти недель...»: (Это как земля и небо по сравнению с «Пятью

---

<sup>95</sup> См. в этой связи письмо Жюля Верна Этцелю, датированное «Суббота, вечером» (начало 1864 г.): «Черт возьми, мой дорогой учитель, ваше письмо было необходимо, чтобы подхлестнуть мне кровь!.. Согласен, что я – животно, которая сама себе (sic) раздает похвалы (sic) устами моих (sic) персонажей. Я здесь прихлопну им клюв, и как следует». (Национальная Библиотека, переписка Верн–Этцель, том 1, папки 7–8.

неделями на воздушном шаре»... Это дало бы основание считать воздушный шар удачной случайностью...), но до появления «Путешествия и приключений капитана Гаттераса» («У меня же есть „Капитан Гаттерас“...»), которые начали выходить 20 марта 1864 г. в первом номере основанного Этцелем «Журнала воспитания и развлечения». Вот этот отрывок, заставляющий отвергнуть предположение, что роман был написан до встречи Жюль Верна с Этцелем: «...Если я чему и удивляюсь, так тому, что вы на едином порыве, как бы побуждаемый высшей силой, создали такую тяжелую, столь неживую вещь...». Чтобы Этцель мог сказать «на едином порыве, как бы побуждаемый высшей силой», издатель должен был быть в курсе того, сколько времени Жюль Верн посвятил работе над этим произведением. Очевидно, писатель несколькими месяцами раньше (после появления «Пяти недель на воздушном шаре») предложил Этцелю свой замысел; получив принципиальное согласие, Жюль Верн в скором времени вручил издателю рукопись романа, написанного, по мнению Этцеля, слишком поспешно.

Как бы то ни было, рукопись содержит ссылки на Исторические факты (даты, политические события), не позволяющие датировать сочинение романа ранее, чем 1863 годом. Этот год фигурирует, впрочем, и в самом тексте в связи с Гражданской войной в Северной Америке.

### **Прелюдия жюльверновского мира**

Из всех сочинений Жюль Верна, опубликованных после 1863 года, больше всего, без сомнения, перекликается с «Парижем в XX веке» шутка под названием «Идеальный город».<sup>96</sup> Она также была издана отдельной брошюрой в том же году у Т. Жене в Амьене. Этот текст часто упоминается под названием «Амьен в 2000 году», присвоенным ему в одном издании 1973 г.) несмотря на принципиальные различия между этими произведениями. Действительно, первое – роман, действие которого происходит в 1960 году и который содержит описание будущего. Второе – сказка, нечто привидевшееся во сне: прогулка, совершаемая автором по своему доброму городу Амьену в 2000 году, – лишь предлог для разговора о недостатках, присущих городу в году 1875-м. Будущий муниципальный советник развлекается сам и развлекает своих слушателей. Но что интересно – Жюль Верн явно использует здесь некоторые идеи из отвергнутой рукописи «Парижа в XX веке», будучи, очевидно, уверенным, что иначе они ему не пригодятся.

Вот несколько примеров подобных совпадений:

#### **ПАРИЖ В XX ВЕКЕ**

*Ходит слух, что... с 1962 учебного года кафедры словесности будут ликвидированы... Кого еще интересуют эти греки и латиняне, они годны лишь на то, чтобы поставлять корни для терминов современной науки...*

*А вчера, всего лишь вчера! Horresco referens, угадайте, если хватум духа, как еще один перевел стих из четвертой книги «Георгик»: immanis pecoris custos...*

*«Хранитель ужасающей дуры».*

#### **ИДЕАЛЬНЫЙ ГОРОД**

*Уже по крайней мере сто лет, как в лицах не изучают ни латинский, ни греческий! Обучение там ведется только по точным наукам, коммерции и промышленности...*

*Знаете ли вы, как в сочинении на звание бакалавра большинство претендентов перевело: immanis pecoris custos?*

*– Нет.*

*– А вот так: «Хранитель ужасающей дуры».*

---

<sup>96</sup> Имеется в виду речь, произнесенная Жюлем Верном в Амьенской академии 12 декабря 1875 г. и опубликованная в «Записках» упомянутой академии (том 2 за 1875 г.).



Кстати, в повести «Женитьба г-на Ансельма де Тийоля»,<sup>97</sup> написанной Жюлем Верном в молодые годы и долгое время остававшейся неизданной, в беседах юного маркиза и его наставника Назона Параклета обильно цитируются стихи Вергилия.

Кроме того, стих «*immanis pecoris custos, immanior ipse*»,<sup>98</sup> очевидно, очень нравился Жюлю Верну, ибо писатель еще раз использовал его в главе XXXIX «Путешествия к центру Земли» (в расширенном варианте, опубликованном в 1867 г.) в эпизоде, в котором исследователям центра Земли кажется, что они обнаружили огромное человеческое существо посреди стада гигантских четвероногих.

Вернемся теперь к «Идеальному городу». Там воспроизводится сюжет с электрическим концертом, фигурирующий в главе XVI «Парижа в XX веке», с той только разницей, что в первом случае пианист дает концерт в Париже, «причем его инструмент электрическими проводами связан с фортепьяно в Лондоне, Вене, Риме, Петербурге, Пекине» и, естественно, в Амьене, в то время как во втором «двести фортепьяно, соединенных между собой... с помощью электрического тока, звучали одновременно под рукой одного-единственного артиста!». И это перед аудиторией в десять тысяч человек и с «оглушительным грохотом». В первом случае речь идет, таким образом, о передаче музыки на расстояние; во втором – об усилении звучания инструмента.

Два других связанных с музыкой сюжета сближают «Париж в XX веке» и «Идеальный город»: какофоническая музыка, заменяющая музыку традиционную, и произведения на темы наук («Тилорьена, гранд-фантазия на тему Сжижения Углекислоты» в «Париже в XX веке» и «Мечтания в ля-минор на тему квадрата гипотенузы» в «Идеальном городе»).

У Жюль Верна есть еще два города будущего, которые можно сравнить с тем, что описан в «Париже в XX веке»: Миллиард-Сити в романе «Плавучий остров»<sup>99</sup> (1895 г.) и Центрополис (или Универсал-Сити – в разных изданиях) в повести «В 2889 году»,<sup>100</sup> написанной Мишелем Верном с благословения отца и позже им переработанной.

Действие «Плавучего острова» разворачивается в эпоху, точно не обозначенную («В течение данного года – затрудняемся с точностью указать, какого именно из ближайших тридцати лет», гл. I<sup>101</sup>) – Миллиард-Сити, столица Стандарт-Айленда, искусственного острова миллиардеров, имеет некоторые черты сходства с Парижем XX века (например, «электрические луны», заливающие светом авеню города, гл. VII). Но важно не забывать, что этот роман был написан тридцатью годами позже «Парижа в XX веке».

Американская метрополия 2889 (или 2890) года – Центрополис (или Универсал-Сити) также некоторыми деталями напоминает Париж в XX веке, но время действия настолько удалено, что автор решается вообразить изобретения и ситуации, которые показались бы ему маловероятными для года 1960-го (в небе проносятся тысячи аэрокаров и аэромиибусов, Великобритания является колонией США). Впрочем, картина XIX века, которую рисует нам Жюль (и Мишель) Верн, далека от пессимистичной, в противоположность той, что являет нам Париж

<sup>97</sup> Опубликована в сборнике «Нантские рукописи», том 3, изд-во «Шерш миди» (Муниципальная библиотека г. Нанта, 1991, предварительное издание). Вновь опубликована в том же 1991 г. в изд-ве Олифан в Поррентруи.

<sup>98</sup> Стада гигантского стража и сам гигантоподобный (*лат.*).

<sup>99</sup> В оригинале – «Остров на гребных винтах». В русском издании 1895 года и ряде последующих – «Плавучий остров».

<sup>100</sup> «In the year 2889» – повесть, написанная Мишелем Верном, но подписанная его отцом. Впервые была опубликована на английском языке в нью-йоркском журнале «Форум» (февраль 1889 г.). Скорее всего, после переработки Жюлем Верном текст был вновь опубликован под названием «День американского журналиста в 2890 году» в «Записках Амьенской академии» (1890 г.) и в «Иллюстрированном приложении» к газете «Пти журнал» (29 августа 1891 г.). Наконец, повесть была включена Мишелем Верном в посмертный сборник сочинений Жюль Верна, озаглавленный «Вчера и сегодня. Рассказы и повести» (Париж, Этцель, 1910), где она названа «В XXIX веке, день американского журналиста в 2889 году».

<sup>101</sup> Перевод Е. Лопыревой и Н. Рыковой.

1960 года.

Жюль Верн, конечно, не забыл о рукописи «Парижа в XX веке». Он вспомнил, например, о ней, когда писал в 1899 году роман «Путешествие стипендиатов», опубликованный в 1903 году. В первой главе там воспроизводится научная метафора, встречающаяся также в первой главе «Парижа в XX веке»: «И поскольку импульс был дан, крики „браво“ продолжались по инерции благодаря достигнутой скорости» («Путешествие стипендиатов»); «Слова сыпались из уст оратора со скоростью пульки, вылетающей из трубки сарбакана. Нечего было и пытаться перекрыть этот вырывающийся под высоким давлением поток красноречия...» («Париж в XX веке»). В обоих случаях речь идет о распределении призов.

\* \* \*

«Париж в XX веке» представляет собой прелюдию к дальнейшему творчеству писателя не столько потому, что тот или иной его пассаж походит на пассаж из какого-нибудь последующего романа. Но прежде всего потому, что здесь уже ощущается формирующийся стиль Жюль Верна, да, конечно, со всеми его недостатками и неуклюжестями, но и со всеми достоинствами. Уже проглядывает та любовь к перечислениям (государственных учреждений, поэтов, писателей, ученых, музыкантов), которая предвещает будущие перечисления названий рыб, насекомых или же растений, – иные молодые читатели «Необыкновенных путешествий» предпочтут, возможно, пропускать их, зато другие оценят присущую им поэтичность. Все повествование проникнуто чувством юмора. Но особенно впечатляет способность писателя так преподнести реальности своего времени, что за ними приоткрываются контуры будущего.

Самое интересное в «Париже в XX веке», на мой взгляд, то, что роман является как бы антологией ранней жюльверновской мысли, позволяющей подвергнуть сомнению многое, что говорилось о писателе в последующем. Например, утверждалось, что Жюль Верн, будучи от природы оптимистом во всем, что касается судеб человечества и прогресса науки, будто бы перестал быть им по причине различных исторических обстоятельств (речь идет о войне 1870 г. и о его семейной ситуации – не очень счастливый брак и крайне сложные отношения с сыном, особенно в период 1877–1887 гг.). А позже, как объяснялось, покушение 1886 года,<sup>102</sup> смерть Этцеля и кончина таинственной возлюбленной ввергли писателя на закате жизни в пессимизм, наложивший отпечаток на его последние сочинения.

Прочитав «Париж в XX веке», произведение молодых лет и в высшей степени автобиографическое, убеждаешься в обратном. Молодой Жюль Верн, угадываемый в образе своего главного героя Мишеля, сочиняющий стихи и ищущий издателя, в трагическом свете видит картину человеческих отношений, общества, где, не считая немногих друзей, он одинок (эпизод с продавцом цветов в XVI главе мне представляется в этом смысле символическим). Так что пессимизм присутствует уже в самом начале творческого пути писателя. Он – постоянная составляющая жюль-верновской мысли, дающая о себе знать то тут, то там, на всем протяжении его литературной карьеры. И все же в «Париже в XX веке» пессимизм то и дело уступает напору всепоглощающего и постоянно бодрящего юмора. Писатель приглашает читателя самому бросить очищенный от всего наносного взгляд на окружающий его мир.

*Пьеро Гондоло делла Рива*

## **ЖЮЛЬ ВЕРН И ЕГО ВРЕМЯ**

### *Примечания французского издателя*

---

<sup>102</sup> В Жюль Верна стрелял и ранил его племянник Гастон.

Эти примечания предназначены лишь к тому, чтобы, глава за главой, пояснить литературный, социальный и научный контекст, в котором создавался роман. Для облегчения текста мы не стали, за отдельными необходимыми исключениями, приводить даты рождения и смерти упоминаемых здесь лиц.

## Глава I

*Поль-Луи Курье*: цитата из «Писем цензора редактору» (1819–1820 г.г.), письмо IX. Блестящий и эрудированный памфлетист, Курье был одной из видных фигур интеллектуальной оппозиции, выступавшей после 1815 г. против легитимистской и клерикальной реакции.

«*Образовательный Кредит*» – карикатура на учреждения промышленного кредита, прототипом которых стал банк «Креди мобилъе», основанный в 1852 г. братьями Исааком и Эмилем Перейрами. Такие кредитные учреждения, зачастую ценой некоторой авантюристичности в ведении дел, решающим образом способствовали экономическому подъему Франции в годы Второй империи. Гигантские работы, осуществленные Османом, выступающим в романе под прозрачным титулом «Министра Украшательства Парижа», стали возможными благодаря тесному и плодотворному объединению усилий этих кредитных учреждений и государства. Жюль Верн с присущим ему остроумием рассматривает перспективу распространения такого сотрудничества на культуру и образование.

*Мокар, Фраппелу* – слегка измененные фамилии видных деятелей Второй империи.

*Альфонс Карр* – французский писатель, друг Этцеля, известный сатирическим остроумием.

## Глава II

Начиная с этой главы, Жюль Верн демонстрирует способность экстраполировать технические достижения своей эпохи. Его описание городской железной дороги, автоматической, бесшумной, где движущим механизмом служит электромагнетическая система, не выглядит ни абсурдным, ни утопическим, если сравнить его с недавними техническими достижениями, подобными VAL.<sup>103</sup> То же относится и к описываемым писателем возможностям, которые открывал только что изобретенный мотор Лемуара.

*Адольф Жоанн* – французский географ, знаток железных дорог.

*Этьен Лемуар* – изобретатель мотора, работающего на газе, принцип которого лежит в основе современных автомобильных моторов.

## Глава III

*Томас Рассел Крэмптон* – английский инженер, изобретатель одного из первых локомотивов, скорость которого стала легендарной.

## Глава IV

*Поль де Кок* – автор множества юмористических романов, весьма ценившихся простой читающей публикой, но служивших предметом насмешек в образованных кругах той романтической эпохи.

*Жан Жак Пелисье* – маршал Франции, отличившийся, в частности, во время Крымской войны взятием крепости Малахов курган и города Севастополь 9 сентября 1855 г.

## Глава V

---

<sup>103</sup> Полностью автоматизированный метрополитен, действующий, в частности, в регионе г. Лилля.

*Клод Перро* – французский ученый и архитектор, брат автора сказок Шарля Перро.

*Граф Чарльз Стэнхоуп* – английский ученый и писатель.

*Томас де Кольмар* – изобрел в 1819 I. счетную машину, названную «арифмометр».

*Морель и Жаве* – изобретатели счетной машины с четырьмя цифровыми панно, которая в 1849 г. была представлена Академии Наук.

*Анри Мондё* – простой пастух, обладавший фантастической способностью считать в уме.

*Чарльз Уитстоун* – английский изобретатель, создатель одного из первых в мире электрических телеграфных аппаратов, изобретатель реостата.

*Джованни Казелли* – итальянский ученый, изобретший в 1859 «пантелеграф», позволявший воспроизводить надписи и рисунки.

5 февраля 1865 г. в помещении Центрального телеграфа на улице Гренель торжественно открыли зал, где были установлены четыре пантелеграфа Казелли, связывавшие Париж с Гавром и Лионом. Его замечательное изобретение основывалось на считывании по параллельным линиям оригинального текста, нанесенного на металлический лист специальными чернилами, не проводящими электричества; текст считывался с помощью стилета, при каждом соприкосновении с этими чернилами передававшим импульс стилету приемной машины, который в реальном времени воспроизводил на листе чувствительной бумаги все движения передающего и, соответственно, текст или рисунок. Несмотря на начальный бурный успех, вызванный любопытством, этот способ передачи изображения оказался забыт вплоть до появления бильдаппарата, позволяющего считывать документ с помощью фотоэлектрического элемента.

*Уатт и Берджес* – основываясь на изысканиях знаменитого шотландского инженера Уатта, бумагопромышленник Берджес в 1851 г. разработал способ обработки дерева содой, который используется до сих пор и действительно позволяет за несколько часов превратить ствол дерева в рулон бумаги.

## **Глава VI**

*Кенсоннас* – имя музыканта созвучно словам «звучащий квинтой».

*Калино* – главный герой популярного водевиля Барьера (1856 г.), этот образ наивного дурачка вошел в поговорку.

## **Глава VII**

*Жансельм* – семья известных в XIX в. краснодеревщиков. Придуманное Жюлем Верном слияние их мастерской с фирмой знаменитого фабриканта фортепьяно Эрара олицетворяет «фортспьяноманию» XIX в. Странный инструмент, описанный Жюлем Верном, во многом похож на тот, который будет запатентован в 1866 г. неким Мильвордом, сумевшим интегрировать в него кровать, шкаф, письменный стол с выдвижными ящиками, туалет с кувшином и тазом, коробку для рукоделия, зеркало, письменный прибор и маленький комод...

## **Глава VIII**

*Клод Гудимель* – французский композитор, протестант, убитый в Лионе в Варфоломеевскую ночь.

*«Гугеноты»* – знаменитая опера Мейербера, написанная в 1836 г.

*Тилорье* – физик, прославившийся своими публичными опытами по сжижению углерода с помощью аппарата, изобретенного в 1835 г. Взрыв этого аппарата 29 декабря 1840 г. стоил жизни Эрвс, лаборанту изобретателя в Фармацевтическом училище Парижа. Что касается «Тилорье-ны», заметим, что в 1844 г. Шарль-Валентен Алькан, эксцентрический персонаж французского музыкального романтизма, сочинил опус 27, озаглавленный «Железная дорога», где точно воспроизводятся шумы, сопровождающие отправление поезда, набор скорости и прибытие на вокзал.

*Сигизмон Тальбсрг* – знаменитый пианист-виртуоз и композитор, одно время соперничавший с Францем Листом.

*Эмиль Предан и Жюль Шульгоф* – пианисты и композиторы, пользовавшиеся известностью в эпоху написания романа.

*«Вильгельм Телль»* – опера Россини, написана в 1829 г.

*«Роберт-дьявол»* – опера Мейербера, написана в 1831 г.

*Луи-Жозеф Эрольд* – лирический композитор.

*Даньель Франсуа Эспри Обер* – лирический композитор.

*Фелисьен Давид* – французский композитор, член Ордена сен-симонистов вплоть до его роспуска в 1833 г., затем путешественник по Среднему Востоку. Им восхищался Берлиоз, после исполнения сочинения «Пустыня» Давид сделался объектом настоящего культа, но вскоре был забыт.

*Виктор Массе* – сочинитель опер («Поль и Виржиния») и оперетт («Свадьба Жанет»). Только это последнее произведение в какой-то мере избежало забвения.

*«Наконец, явился Вагнерб»* – несуразная, но забавная игра слов, перефразирующая известную строку Буало в «Искусстве поэта»: «Наконец, явился Малерб».<sup>104</sup>

## **Глава X**

Эта глава представляет в весьма любопытном свете литературные вкусы и наклонности Жюль Верна, а также свидетельствует о характере его отношений с издателем Пьером-Жюлем Этцелем. Жюль Верн пытается здесь создать впечатление сходства вкусов между собой и Этцелем и заработать себе признание в качестве искушенного знатока современной ему литературной среды. Этцель, издатель Гюго, Бальзака, Жорж Санд, Мюссе, Бодлера, был уважаемым человеком, он поддерживал с большинством писателей своего времени дружеские связи, нередко подкрепленные общностью судьбы в изгнании или в оппозиции к режиму Второй империи. Будучи, видимо, не совсем в курсе всех нюансов и сложностей отношений в этом дружеском интеллектуальном кругу, Жюль Верн судит безапелляционно, множит гиперболические похвалы тем, кого считает близкими издателю, и весьма безрассудно разносит других. В конечном счете писатель вызвал раздражение у того, кому он так хотел представить себя в выгодном свете, о чем и свидетельствуют пометки издателя на полях рукописи и письмо с отказом принять роман.

*Жак Амьо* – французский писатель эпохи Ренессанса, в частности автор переводов Плутарха и Лонгия.

*Матюрен Ренье* – французский писатель XVI в., автор «Сатир» и «Эпистол».

*Анциллон* – имя семьи французских протестантов, эмигрировавшей в Германию после отмены Нантского эдикта; дала несколько поколений писателей, историков и политических деятелей.

*Жозеф Прюдом* – персонаж, созданный писателем Анри-Бонавантюром Монье в книге «Величие и падение г-на Жозефа Прюдома» (1853 г.). Тип сентенциозного и самодовольного буржуа.

*Винсент Вуатюр* – французский поэт и прозаик, один из представителей вычурного стиля XVII в., считавшийся в эпоху Жюль Верна эталоном сочинителя витиеватых острот.

*Шарль Нодье* – один из первых французских писателей – романтиков, близкий по духу к немецкому романтизму.

*Пьер-Жан де Беранже* – автор патриотических песенок либерального и пронаполеоновского толка, пользовался огромной популярностью в эпоху Реставрации.

*Сен-Пуэн* – деревня в районе Макона, где находился замок Ламартина.

*Жюль Жанен* – романист и критик, друг Этцеля.

*Шарль Монселе* – журналист, писатель и gastronome, автор «Альманаха гурманов», друг

---

<sup>104</sup> Франсуа де Малерб – французский лирический поэт (1555–1628 гг.), осуществил реформу французского языка и стихосложения.



Этцеля.

*Леон Гозлан* – французский журналист и писатель, бывший секретарем Бальзака, автор романов («Треволнения Полидора Мараскена») и комедий, был близок к Этцелю.

*Проспер Мериме* – ядовитая ремарка Жюль Верна («генерал от прихожей») вызвана, вероятнее всего, переходом Мериме в лагерь сторонников Второй империи. Писатель стал одним из наиболее приближенных завсегдатаев императорского двора.

*Сент-Бёв* – упоминаемый здесь Жюлем Верном с достаточно презрительной иронией, – был, однако, в весьма сердечных отношениях с Этцелем.

*Этьен Араю* – химик, впоследствии писатель, автор водевилей, убежденный республиканец, мэр Парижа после падения Второй империи.

*Виктор Кузен* – французский философ, профессор истории философии в Сорбонне с 1828 г., затем член Академии, пэр Франции и министр общественного образования в период июльской монархии, был вынужден уйти в отставку после государственного переворота 2 декабря 1851 г.

*Пьер Леру* – один из наиболее видных мыслителей-социалистов Франции XIX в., которым восторгались Виктор Гюго и Жорж Санд, основатель газеты «Глоб». После недолгого (в 1830 г.) обращения в сенсимонизм был весьма активен в революции 1848 г. и оказался среди изгнанных из страны после 2 декабря 1851 г.

*Эрнест Ренан* – филолог и писатель, в 1862 г. – профессор иврита в Коллеж де Франс. Публикация его «Жизни Иисуса», где Христос рассматривается в историческом контексте и в его человеческом измерении, вызвала в католических кругах такую яростную кампанию против писателя, что в 1864 г. он был уволен из Коллеж де Франс.

*Эмиль де Жирарден* – журналист, основатель в 1836 г. газеты «Пресса», блестящий полемист, одна из наиболее ярких фигур французской журналистики.

*Луи Вейо* – католический журналист, полемист, известный своей горячностью, но уважаемый за принципиальность.

*Франсуа Гизо* – выдающийся историк и политический деятель. С 1840 по 1848 г. – премьер-министр Луи-Филиппа. Суровость его правления и его непримиримость в отношении либеральной партии, вне сомнения, способствовали кризису 1848 г. и падению июльской монархии.

*Адольф Тьер* – премьер-министр Луи-Филиппа с 1836 по 1840 г. В 1871 г. – глава исполнительной власти, затем – президент Временной республики. Его «История французской революции» (1824–1827 гг.) и последовавшая тридцатью годами позже «История Первой империи» принесли ему в XIX в. прочную славу историка.

*Клод Антуан Норьяк* – писатель и драматург, один из директоров театра Варьете, затем, в 1867 г., – театра «Буф паризьен». Он действительно опубликовал в 1860 г. сочинение, озаглавленное «Глупость человеческая», в то время как Флобер еще только вынашивал свой проект «Энциклопедии человеческой глупости», воплотившийся в конечном счете в сочинении «Бувар и Пекюше».

*Альфред Ассолан* – автор, среди прочего, «Приключений капитана Коркорана», ставших классикой литературы для юношества.

*Парадоль* – речь, вне сомнения, идет о Люсьене Анатоле Прево-Парадоле, писателе и политическом публицисте, оппозиционном журналисте в годы Второй империи. Позже поддержал империю, был послом Франции в Вашингтоне, где кончил самоубийством в 1870 г. при известии об объявлении войны Пруссии.

*Альфред Шолль* – хроникер и романист, был близок к Этцелю.

*Эдмон Абу* – блестящий и язвительный писатель, чьи «Король гор» и «Человек со сломанным ухом» читаются и сегодня. Был близок к Этцелю.

*Франсиск Сарсэ* – театральный критик газеты «Тан», в течение более чем сорока лет один из наиболее популярных персонажей интеллектуальной жизни Парижа. С первых же опытов удостоился признания Этцеля.

*Эрнест Фейдо* – драматург, поэт, романист, отец автора водевилей Жоржа Фейдо.

*Жан-Батист Луве де Кувре* – романист и политический деятель XVIII в., автор, в частно-

сти, знаменитого фривольного романа «Приключения кавалера де Фоблаза».

*Шамфлери* (псевдоним Жюля Гюссона) – критик и романист, видная и любопытная фигура мира искусства XIX в. В начале 50-х гг. начинает борьбу за реализм не только в литературе, но и в изобразительных искусствах, он поддерживает Курбе и публикует эссе о братьях Ле Нен. Был в весьма сердечных отношениях с Этцелем.

*Жан Массе* – выходец из бедной семьи, сначала становится учителем начальной школы, после 1848 г., занявшись журналистикой, развивает свои взгляды на народное образование. После 2 декабря 1851 г. переезжает в Эльзас, где знакомится с Этцелем и создает вместе с ним в 1864 г. «Журнал воспитания и развлечения». В 1866 г. основывает Французскую лигу Образования. В 1861 г. публикует педагогический роман «История кусочка хлеба». Подчеркнутые похвалы Жюля Верна в его адрес, как и в адрес всех друзей Этцеля, по-видимому, не достигают цели, ибо издатель как раз в этом месте пометит на полях: «Я нахожу весь этот обзор ребячеством»...

*Жозеф Мери* – поэт, романист, плодовитый и нередко парадоксальный писатель.

*П. Ж. Сталь* – псевдоним самого Этцеля, который, естественно, издавал этого автора весьма «тщательно».

*Арсен Уссэй* – журналист, критик, романист. Плодовитый и приятный автор, часто пользовавшийся каламбурами, что и вызывает язвительную ремарку Жюля Верна, уподобляющего того жеманным авторам XVII в.

*Поль Бене, граф де Сен-Виктор* – писатель и литературный критик, действительно известный своим слишком напыщенным стилем.

## **Глава XI**

«Грейт Истерн» (в написании Жюля Верна почему-то «Грейт Эстерн») – легендарный пакетбот длиной в 110 метров, долгое время остававшийся самым большим кораблем в мире. Еще в 1865–1866 гг. использовался для укладки подводного телеграфного кабеля, соединявшего Европу с Америкой. В эти годы Жюль Верн пересек на нем Атлантический океан, что вдохновило его на создание романа «Плавучий город».

## **Глава XII**

*Битва с амалекитянами* – эпизод из Ветхого Завета, книга Исхода, 17, 12.

## **Глава XIII**

*Птицы Зевксиса* – вошедший в поговорку рассказ о греческом художнике Зевксисе (464–398 гг. до н. э.). По легенде он был настолько искусен, что, когда писал гроздь винограда, птицы слетались клевать ягоды.

«В конце концов, он был овернцем...» – надо вспомнить, что в спектаклях бульварных театров и водевилях персонажи овернцев – водоносов или торговцев углем – были, в частности, предназначены веселить публику своим акцентом, грубыми деревенскими манерами и наивной жадностью.

«Кобыла Роланда» обладала по преданию всеми достоинствами, ей не хватало, как говорили, только одного – существовать в реальности.

## **Глава XIV**

*Франсуа Понсар* – драматург, друг Этцеля.

*Эмиль Ожье* – модный драматург, в том числе автор упоминаемой ниже комедии «Габриель».

*Викторьен Сарду* – драматург («Мадам-бесстыдница», «Ля Тоска» и упоминаемая ниже комедия «Наши близкие»).

*Теодор Барьер* – плодовитый автор водевилей, в том числе упомянутого выше «Калино». (См. примечание к гл. VI.)

*Поль Мёрис* – литератор и драматург, близкий к Виктору Гюго.

*Огюст Вагри* – литератор и драматург, брат одного из зятьев Виктора Гюго.

«Полусвет» Дюма-сына, «Габриель» Эмиля Ожье и «Наши близкие» Викторьена Сарду подвергаются здесь любопытному «перевертыванию» на потребу вкуса публики 1960 г.: так, женские персонажи Жюль Верн превращает в мужские и наоборот в соответствии с критериями феминизма, перспектива которого явно заставляет писателя содрогнуться.

Механизм «перевертывания» требует некоторых пояснений. Вот основные элементы интриги пьес, которые перерабатываются «Большими Драматическими Складами» в Париже XX в.:

«Полусвет» – пьеса Дюма-сына имела огромный успех. Порочная мадам д'Анж ловит в свои сети простодушного Нанжака, и лишь вмешательство его верного друга Жалена, бывшего любовника мадам д'Анж, спасает того от прискорбной связи. Заметим, что в комментариях того времени выражалось удивление по поводу «этого мирка замужних женщин, чьих мужей никогда не видно». Жюль Верн насмешливо переиначивает эту формулу.

«Габриель» – комедия Эмиля Ожье, написанная александрийским стихом. Габриель, супруга сурового и работающего Жюльена Шабриера, по профессии присяжного поверенного, безумно скучает и опасно флиртует (автор примечаний пользуется термином «боваризует» – от мадам Бовари. – Прим. пер.). Дело доходит до того, что она решается бросить мужа и детей и сбежать с неким Стефаном. Разгадав ее планы, поверенный демонстрирует одновременно величие души и зрелость главы семейства, читая обоим провинившимся завуалированную, но красноречивую проповедь отказывается от своего замысла, прогоняет соблазнителя и падает в объятия супруга, восклицая: «О, отец семейства! О, поэт! Я люблю тебя!»

«Наши близкие» Викторьена Сарду – комедия, весьма искусно построенная на сюжете о подлинной и ложной дружбе. Несмотря на настораживающие предупреждения своего друга Толозана, врача-скептика и, видимо, мизантропа, наивный и сердечный Коссад приглашает в свое имение в Билль д'Аврэ недавних знакомых, которых считает своими друзьями. Все они скоро будут соревноваться в неблагодарности и хамстве по отношению к хозяину, особенно отличится молодой Морис, помогающий жене Коссада Сесиль с такой настойчивостью, что между ними происходит пикантная сцена, где Морис пытается заставить ее отдаться, предварительно оборвав шнур звонка, чтобы помешать ей позвать на помощь. Пьеса заканчивается неожиданным пируэтом. Коссад, подозревающий Сесиль в неверности, хочет покончить с собой. За кулисами слышится выстрел... и Коссад возвращается на сцену в восторге от того что убил, наконец, лису, опустошавшую его птичий двор.

«Амазатто, или Открытие хинина» – пьеса Адольфа Лемуана – Монтиньи, опубликованная в 1836 г.

«Жизнь и воззрения Тристрама Шенди» – Жюль Верн неоднократно упоминает это произведение Лоуренса Стерна (1713–1768 гг.). Здесь Жюль Верн имеет в виду главу 27 IV книги в изданиях того времени, особенно отмеченную грубоватым фанфаронством в лучших традициях Рабле, весьма свойственных Стерну. Она начинается так: «„Твою мать!.. Твою мать!..“ – произнес Футаториус». Поименованный г-н Футаториус, чье имя примерно означает «тот, кто предается совокуплению», на самом деле только что уронил раскаленный каштан в оставшуюся по неосторожности расстегнутой ширинку... Можно понять невинного Мишеля, отказывающегося построить пьесу на такой посылке, как можно понять и замечание ошеломленного Этцеля на полях рукописи: «Вы с ума сошли!».

## Глава XVI

Если возможность освещения улиц электрическим светом предполагалась уже с того момента, как Дэви (1778–1829 гг.) получил первую электрическую дугу, повсеместно оно стало применяться лишь с разработкой Эдисоном лампочки накаливания. Она пришла на смену дуговым фонарям, мощным, но требовавшим искусного обращения. Можно отмстить, что в 1861 г. у

входа в Пале Руаяль в Париже была установлена в экспериментальном порядке дуговая электрическая лампа, которую питал мотор мощностью в три лошадиные силы. Как утверждали, она светила сильнее, чем все газовые фонари площади, вместе взятые. Все так же в порядке эксперимента дуговые прожекторы использовались для освещения ночью стройки отеля Лувр, а позже – на выставке 1867 г. В повседневную жизнь электрическое освещение войдет лишь с 1885 г.

*Гюстав Флуренс* – блестящий университетский профессор, унаследовавший от своего отца в 1863 г. в возрасте двадцати пяти лет кафедру естественной истории, в 1871 г. – доброволец Коммуны, убит в бою с версальцами.

*Бенуа Фурнейрон* – инженер и политический деятель, изобрел в 1834 г. гидравлическую турбину, носящую его имя.

*Кеилен* – семья французских промышленников.

«... по венгерскому способу» – без сомнения, шпилька в адрес Франца Листа, чья легендарная виртуозность доходила до неправдоподобия.

## **Глава XVII**

«Грекостасис» – место на Римском Форуме, где дожидались приема в Римском Сенате иностранные посольства.

*Луиджи Керубини* – композитор, родившийся во Флоренции, в 1821 г. ставший директором Парижской консерватории, в числе его произведений – опера «Медея».

*Франсуа Антуан Габенек* – композитор и знаменитый дирижер, основатель общества Концертов Консерватории; ему больше, чем кому-либо, Франция обязана знакомством с музыкой Бетховена.

*Эрнест Рейер* – французский лирический композитор, написавший, в частности, «Сигурда».

*Жак Антуан Манюэль* – французский политический деятель, депутат эпохи Реставрации, ставший после своего изгнания из палаты депутатов в ходе бурных дебатов о войне в Испании в 1823 г. символом либеральной оппозиции первой Реставрации.

*Джеймс Прадье* – французский скульптор, автор двух муз на фонтане Мольера в Париже и других произведений на мифологические сюжеты.

*Марк Антуан Дезожье* – французский автор водевилей.

*Гаспар Монж* – геометр, основатель Политехнического училища.

*Антуан Этекс* – французский скульптор и архитектор. Автор одного из рельефов Триумфальной арки на площади Звезды и многочисленных надгробных памятников; его работы в этом последнем жанре особенно ценились. Автор проекта «монумента пару», воздвигнуть который предполагалось на площади Европы поблизости от вокзала Сен-Лазар.

*Франсуа Винсент Распай* – французский биолог и политический деятель, республиканец, пребывавший в изгнании с 1851 по 1863 г.

*Луи Франсуа Клервиль* – плодовитый и весьма ценившийся в свое время автор водевилей, в частности «Корневильских колоколов».

*Адольф Деннери* – плодовитый сочинитель мелодрам («Двое сирот»), автор инсценировки в 1875 г. жюльверновского романа «Вокруг света за восемьдесят дней».<sup>105</sup>

*Казимир Делавинь* – драматург, автор «Сицилийской вечерни» (1819 г.) и «Марино Фальеро» (1829 г.).

*Эташ Бера* – французский шансонье.

*Эмиль Сувестр* – литератор, романист и драматург.

*Эдуар Плувье* – драматический актер.

---

<sup>105</sup> А также инсценировок «Детей капитана Гранта» и «Михаила Строгова».